

Текст приводится по изданию:

Марк Туллий Цицерон. РЕЧИ В ДВУХ ТОМАХ. Том первый (81-63 гг. до н.э.). Издание подготовили В. О. Горенштейн, М. Е. Грабарь-Пассек. Издательство Академии Наук СССР. Москва 1962.  
Перевод В. О. Горенштейна

Марк Туллий Цицерон

## РЕЧЬ ПРОТИВ ГАЯ ВЕРРЕСА

[*В суде, первая сессия, 5 августа 70 г.*]



(1, 1) Чего всего более надо было желать, судьи, что всего более должно было смягчить ненависть к вашему сословию и развеять дурную славу, тяготеющую над судами, то не по решению людей, а, можно сказать, по воле богов даровано и вручено вам в столь ответственное для государства время. Ибо уже установилось гибельное для государства, а для вас опасное мнение, которое не только в Риме, но и среди чужеземных народов передается из уст в уста, — будто при нынешних судах ни один человек, располагающий деньгами, как бы виновен он ни был, осужден быть не может. (2) И вот, в годину испытаний для вашего сословия и для ваших судов<sup>1</sup>, когда подготовлены люди, которые речами на сходках и внесением законов будут стараться разжечь эту ненависть к сенату, перед судом предстал Гай Веррес, человек, за свой образ жизни и поступки общественным мнением уже осужденный, но ввиду своего богатства, по его собственным расчетам и утверждениям, оправданный. Я же взялся за это дело, судьи, по воле римского народа и в оправдание его чаяний, отнюдь не для того,

чтобы усилить ненависть к вашему сословию, но дабы избавить всех нас от бесславия. Ибо я к суду привлек такого человека, чтобы вы вынесенным ему приговором могли восстановить утраченное уважение к судам, вернуть себе расположение римского народа, удовлетворить требования чужеземных народов. Это — расхититель казны<sup>2</sup>, угнетатель Азии и Памфилии, грабитель под видом городского претора, бич и губитель провинции Сицилии. (3) Если вы вынесете ему строгий и беспристрастный приговор, то авторитет, которым вы должны обладать, будет упрочен; но если его огромные богатства возьмут верх над добросовестностью и честностью судей, я все-таки достигну одного: все увидят, что в государстве не оказалось суда, а не что для судей не нашлось подсудимого, а для подсудимого — обвинителя.

(II) Лично о себе я признаюсь, судьи: хотя Гай Веррес как на суше, так и на море строил мне много козней<sup>3</sup>, из которых одних я избежал благодаря своей бдительности, а другие отразил благодаря стараниям и преданности своих друзей, все же мне, по моему мнению, никогда не грозила такая большая опасность и никогда не испытывал я такого страха, как теперь, во время самого слушания этого дела. (4) И меня волнует не столько напряженное внимание, с каким ждут моей обвинительной речи, и такое огромное стеченье народа, — хотя и это очень и очень смущает меня — сколько те предательские козни, которые Гай Веррес одновременно строит мне, вам, претору Манию Глабриону, римскому народу, союзникам, чужеземным народам и, наконец, сенаторскому сословию и званию. Вот что он говорит: пусть боится тот, кто награбил лишь столько, что этого может хватить ему одному, сам же он награбил столько, что этого хватит многим; по его словам, нет святыни, на которую нельзя было бы посягнуть, нет крепости, которую нельзя было бы овладеть за деньги<sup>4</sup>. (5) Если бы дерзости его попыток соответствовало его умение действовать тайком, то ему, пожалуй, когда-нибудь и удалось бы в чем-либо нас обмануть. Но, по счастью, с его необычайной наглостью сочетается исключительная глупость: как он ранее открыто расхищал деньги, так и теперь, надеясь подкупить суд, он сообщает о своих замыслах и попытках всем и каждому. По его словам, он только один раз за всю свою жизнь струсил — тогда, когда я привлек его к суду: он лишь недавно вернулся из провинции, ненависть к нему и его дурная слава были не недавнего происхождения, а старыми и давнишними, и как раз это время оказалось неблагоприятным для подкупа судей<sup>5</sup>. (6) Но вот, когда я спросил для себя очень малый срок, чтобы произвести следствие в Сицилии, он немедленно нашел человека, который для расследования дела в Ахайе потребовал для себя срок, меньший на два дня, но человек этот отнюдь не намеревался своим добросовестным отношением к делу и настойчивостью достигнуть того же, чего добивался я своим трудом и ценой бессонных ночей. Ведь этот ахейский следователь не доехал даже до Брундисия, тогда как я в течение пятидесяти дней искалесил всю Сицилию, собирая записи об обидах, причиненных как населению в целом, так и отдельным лицам<sup>6</sup>. Таким образом, всякому ясно, что Веррес искал человека не для того, чтобы тот привлек своего обвиняемого к суду, но дабы он отнял у суда время, предоставленное мне.

(III, 7) Теперь этот наглейший и безрассуднейший человек понимает, что я явился в суд настолько подготовленным и знакомым с делом, что не только вы одни услышите мой рассказ о его хищениях и гнусных поступках, но их воочию увидят все. Он видит, что свидетелями его дерзости являются многие сенаторы; видит многих римских всадников и многих граждан и союзников, которым он нанес тяжкие обиды; видит также, что многие дружественные нам городские общины прислали множество столь уважаемых представителей, облеченные полномочиями от населения. (8) Хотя это и так, он все же настолько дурного мнения обо всех честных людях и считает сенаторские суды настолько испорченными и продажными, что во всеуслышание говорит о себе: он не без причины был жаден к деньгам, так как деньги — он видит это по опыту — очень сильное средство защиты; он, что было особенно трудно, купил даже время для суда над собой, чтобы ему легче было впоследствии купить остальное, дабы ему, коль скоро он никак не мог уйти от грозных обвинений, удалось спастись от бури, связанной с ранним сроком разбора его дела в суде. (9) Имей он хоть какую-либо надежду, не говорю уже — на правоту своего дела, но хотя бы на чье-либо честное заступничество или на чье-нибудь красноречие или влияние, он, конечно, не стал бы прибегать ко всем возможным средствам и не пустился бы на розыски их; он не настолько презирал бы сенаторское сословие, не настолько пренебрегал бы им, чтобы по своему усмотрению выбирать из числа членов сената другого обвиняемого<sup>7</sup>, чье дело должно было бы разбираться до его дела, пока он успеет подготовить все, что нужно.

(10) По всему этому мне легко догадаться, на что он надеется и что замышляет; но почему он так уверен в успехе при слушании дела перед лицом этого претора и этого совета судей, я, право, понять не могу. Я понимаю одно (и римский народ тоже высказал свое мнение во время отвода судей<sup>8</sup>): всю свою надежду на спасение Веррес возлагал на деньги, и если это средство защиты будет у него отнято, ему уже не поможет ничто. (IV) В самом деле, можно ли представить себе столь великое дарование, столь замечательный дар слова и такое красноречие, которое было бы в состоянии хотя бы в одном отношении оправдать его образ жизни, запятнанный столькими пороками и гнусностями и уже давно единогласно всеми осужденный? (11) Даже если обойти молчанием грязные и позорные проступки его молодости, то к чему иному свелась его квестура, первая почетная должность, как не к тому, что он украл у Гнея Карбона, чьим квестором он был, казенные деньги, ограбил и предал своего консула, бросил войско, покинул провинцию, оскорбил святость отношений, налагаемых жребием? Как легат он был бичом всей Азии и Памфилии; в этих провинциях он ограбил много домов, множество городов и все храмы; тогда же он по отношению к Гнею Долабелле повторил свое прежнее преступление времен квестуры; своим злодеянием он навлек ненависть на человека, у которого был легатом и проквестором, и не только покинул его в самое опасное время, но и напал на него и его предал. (12) Как городской претор он ограбил храмы и общественные здания и, вместе с тем, как судья, вопреки общепринятым порядку, присуждал и раздавал имущества и владения<sup>9</sup>.

Но самые многочисленные и самые важные доказательства и следы всех своих пороков он оставил в провинции Сицилии, которую он в течение трех лет так истерзал и разорил, что ее совершенно невозможно восстановить в ее прежнем состоянии, и она лишь через много лет и с помощью неподкупных преторов, в конце концов, видимо, сможет хоть сколько-нибудь возродиться. (13) В бытность Верреса претором, для сицилийцев не существовало ни их собственных законов, ни постановлений нашего сената, ни общечеловеческих прав. В Сицилии каждому принадлежит только то, что ускользнуло от безмерной алчности и произвола этого человека — потому ли, что он упустил это из вида, или же потому, что был уже пресыщен.

(V) В течение трех лет ни одно судебное дело не решалось иначе, как по мановению его бровей; не было ни одного имущества, унаследованного от отца или деда, которое не было бы отчуждено судебным приговором по повелению Верреса. Огромные деньги были взысканы с земледельцев на основании введенных им новых, преступных правил; наши преданные союзники были отнесены к числу врагов, римские граждане были подвергнуты пыткам и казням, словно это были рабы; преступнейшие люди были за деньги освобождены от судебной ответственности, а весьма уважаемые и бескорыстнейшие, будучи обвинены заочно, без слушания дела были осуждены и изгнаны; прекрасно укрепленные гавани и огромные, надежно защищенные города были открыты пиратам и разбойникам; сицилийские матросы и солдаты, наши друзья и союзники, были обречены на голодную смерть; прекрасный, крайне нужный нам флот, к великому позору для римского народа, был потерян нами и уничтожен.

(14) Этот же пресловутый претор разграбил доиста все древнейшие памятники, часть которых была получена от богатейших царей, желавших украсить ими города, часть — также и от наших императоров, которые после своих побед либо даровали, либо возвратили их городским общинам Сицилии<sup>10</sup>. И он поступил так не только со статуями и украшениями, принадлежавшими городским общинам; он ограбил все храмы, предназначенные для совершения священных обрядов; словом, он не оставил сицилийцам ни одного изображения божеств, если оно, по его мнению, было сделано достаточно искусно и притом рукой старинного мастера. Что же касается его разврата и гнусностей, то мне стыдно рассказывать о преступных проявлениях его похоти и, кроме того, я не хочу своим рассказом усиливать горе людей, которым не удалось уберечь своих детей и жен от его посягательств. (15) "Но ведь его преступления, — скажут мне, — были совершены так, что не должны были стать известны всем". Мне думается, нет человека, который бы, услыхав его имя, не вспомнил тут же и о его беззаконных поступках, так что меня скорее, пожалуй, упрекнут в том, что я упустил из вида многие его преступления, а не в том, что я выдумываю их. Я думаю, что это множество людей, собравшихся послушать дело, пришло не для того, чтобы узнать от меня, в чем обвиняют Верреса, а чтобы вместе со мной лучше ознакомиться с тем, что им уже известно.

(VI) При таком положении вещей этот безумный и преступный человек изменяет свой способ борьбы со мной: не старается противопоставить мне чье-либо красноречие, не полагается на чье-либо влияние; он делает вид, будто полагается на все это, но я вижу, как он поступает в действительности; ведь действует он отнюдь не тайно. Он бросает мне в лицо ничего не значащие имена знатных, то есть высокомерных людей, но не столько пугает меня их знатность, сколько помогает мне их известность. Он притворяется, что вполне доверяет их защите, а между тем уже давно замышляет нечто совсем другое. (16) Какую надежду он теперь питает и о чем хлопочет, я сейчас коротко вам расскажу, но сначала прошу вас послушать, что он совершил с самого начала.

Как только он возвратился из провинции, он подкупил наличный состав суда за большие деньги. Эта сделка оставалась в силе вплоть до самого отвода судей; так как во время жеребьевки судьба благоприятствовала римскому народу и расчеты Верреса рухнули, а при отводе судей моя бдительность восторжествовала над наглостью его сторонников, то после отвода судей вся сделка была объявлена недействительной. (17) Итак, все обстояло прекрасно. Тетрадки с именами вашими и членов этого совета судей были у всех в руках; ни пометки, ни особого цвета<sup>11</sup>, ни злоупотреблений — ничем нельзя было опорочить это голосование. И вдруг Веррес из веселого и смеющегося сделался таким удрученным и опечаленным, что не только римскому народу, но и самому себе казался уже осужденным. Но вот, после комиций по выбору консулов, он внезапно в течение нескольких последних дней снова возвращается к своим прежним замыслам, определив на расходы еще более крупную сумму, и снова строятся козни против вашего доброго имени и всеобщего благополучия. Это, судьи, открылось мне сперва по самым малозаметным признакам и малоубедительным доказательствам, но впоследствии я, укрепившись в своем подозрении, безошибочно изучил все самые тайные замыслы своих противников.

(VII, 18) Ибо, когда избранный консул<sup>12</sup> Квинт Гортенсий возвращался домой с поля в сопровождении огромной толпы, эту толпу случайно встретил Гай Курион<sup>13</sup> (его имя произношу с уважением, а не из желания его оскорбить; ведь я сейчас повторю то, чего он, конечно, не сказал бы так открыто и во всеуслышание при таком большом стечении людей, если бы не хотел, чтобы его слова запомнились: все же скажу это обдуманно и осторожно, дабы все поняли, что я принял во внимание и наши дружеские отношения и его высокое положение). (19) Возле самой Фабиевой арки<sup>14</sup> он в толпе видит Верреса, окликает его и громко поздравляет. Самому Гортенсию, который был избран в консулы, находившемуся тут же, его родным и друзьям он не говорит ни слова. С Верресом же он останавливается, обнимает его и говорит, что теперь ему нечего беспокоиться. "Предсказываю тебе, — говорит он, — в нынешних комициях ты оправдан". Это слышали многие очень уважаемые люди и тотчас передали мне; мало того, всякий, встречая меня, рассказывал мне об этом. Одним это казалось возмутительным, другим — смешным. Это казалось смешным тем, кто думал, что исход дела Верреса зависит от честности свидетелей, от существа

предъявленных ему обвинений, от власти судей, а не от консульских комиций; возмутительным — тем, кто глубже вникал в дело и понимал, что поздравление это имело в виду подкуп судей.

(20) И в самом деле, вот как рассуждали, вот о чем говорили эти достойнейшие люди и между собой и со мной: "Теперь уже совершенно ясно и очевидно, что правосудия не существует. Обвиняемый, который накануне уже сам считал себя осужденным, ныне, после того как его защитник избран в консулы, уже считается оправданным. Что это значит? Неужели не будет иметь значения то, что вся Сицилия, все сицилийцы, все дельцы, все книги с записями, принадлежащие городским общинам и частным лицам, находятся в Риме?" — "Нет, не будет, если только избранный консул этого не захочет". — "Как? Судьи не примут во внимание ни обвинений, ни показаний свидетелей, ни мнения римского народа?" — "Нет, все будет зависеть от власти и воли одного".

(VIII) Буду говорить откровенно, судьи! Это сильно встревожило меня. Ведь все честнейшие люди говорили так: "Верреса, пожалуй, вырвут из твоих рук, но нам не удастся в дальнейшем удержать за собой суды; в самом деле, кто, в случае оправдания Верреса, сможет противиться передаче судов?" (21) Такое положение вещей было неприятно для всех, причем людей не столько огорчала неожиданная радость этого негодяя, сколько необычное поздравление со стороны высокопоставленного мужа. Я старался скрыть свое огорчение, старался не выдавать своей печали выражением своего лица и таить ее в молчании.

Но вот в те самые дни, когда избранные преторы метали жребий<sup>15</sup>, и Марку Метеллу досталось ведать делами о вымогательстве, мне сообщили, что Веррес получил столько поздравлений, что даже послал домой рабов уведомить об этом жену. (22) Разумеется, такой исход этой жеребьевки был мне неприятен, но я все-таки не понимал, чем же она так опасна для меня. Одно только сообщили мне надежные люди, через которых я собирал все сведения: множество корзин<sup>16</sup> с сицилийскими деньгами было перенесено из дома некоего сенатора в дом одного римского всадника, а около десяти корзин было оставлено у того же сенатора в связи с комициями, касавшимися меня<sup>17</sup>; раздатчиков во всех трибах ночью позвали к Верресу<sup>18</sup>. (23) Один из них, считавший своей обязанностью помогать мне во всем, в ту же ночь явился ко мне и рассказал, что говорил им Веррес. Он напомнил им, как щедр был он к ним и ранее, когда он сам добивался претуры, и во время последних комиций по выбору консолов и по выбору преторов; затем он обещал им столько денег, сколько им будет угодно, если только они помешают моему избранию в эдилы. Тут одни стали говорить, что не решаются на это; другие отвечали, что не считают этого возможным; но нашелся один дерзкий приятель из той же шайки головорезов — Квинт Веррес из Ромилиевой трибы<sup>19</sup>, — мастер раздавать деньги, ученик и друг отца Верреса; он обещал это проделать, если на его имя внесут 500 000 сестерциев, причем несколько человек решило действовать заодно с ним. Вот почему этот человек

советовал мне — разумеется, из доброжелательности — принять все меры предосторожности.

(IX, 24) Меня в одно и то же время, которого было очень мало, беспокоили очень важные обстоятельства. Уже близок был срок комиций, во время которых мне предстояло сражаться против огромных денег; недалек был и суд; ему также угрожали и сицилийские корзины. Опасения за исход выборов в комициях не давали мне спокойно заниматься тем, что имело отношение к суду; а суд не позволял мне всецело посвятить себя соисканию; наконец, грозить раздатчикам не было смысла, так как они — я видел это — понимали, что я буду связан этим судом по рукам и по ногам. (25) Именно в это время я вдруг узнаю, что сицилийцы были приглашены Гортенсием к нему на дом, но держали себя вполне независимо и, понимая зачем их зовут, не пошли к нему. Тем временем начались выборы в комициях, в которых Веррес, как и в других комициях этого года, считал себя полным хозяином. Этот великий муж, вместе со своим любезным и податливым сыном, стал бегать от трибы к трибе, созывать всех приятелей своего отца, то есть раздатчиков денег, и постоянно встречаться с ними. Когда это было замечено и правильно понято, римский народ приложил все свои усилия к тому, чтобы человек, чьи богатства не смогли отвратить меня от верности долгу, при помощи денег не лишил меня возможности быть избранным на почетную должность.

(26) Освободившись от большой заботы, связанной с соисканием, я, уже не отвлекаемый ничем, вполне спокойно направил все свои усилия и помыслы на ведение дела в суде. Я обнаружил, судьи, что мои противники составили себе следующий план действий: всяческими способами добиваться, чтобы дело слушалось под председательством претора Марка Метелла. Это представляло вот какие преимущества: во-первых, Марк Метелл, конечно, окажется вернейшим другом; во-вторых, Гортенсий будет консулом и не только он, но и Квинт Метелл, а он тоже в большой дружбе с Верресом; прошу вас обратить на это внимание, ведь он дал ему такое первое доказательство своего расположения к нему, словно уже расплатился с ним за исход голосования первой центурии<sup>20</sup>.

(27) Могли ли вы подумать, что я стану молчать о таком важном обстоятельстве? Что в минуту такой огромной опасности, грозящей и государству и моему имени, я стану думать о чем-либо ином, кроме своего долга и достоинства? Приглашает сицилийцев к себе другой избранный консул<sup>21</sup>; кое-кто из них приходит, так как Луций Метелл — претор в Сицилии. Квинт Метелл говорит им следующее: сам он — консул, один брат его управляет провинцией Сицилией, другой будет председательствовать в суде по делам о вымогательстве; все предусмотрено, чтобы Верресу ничто не могло повредить.

(X, 28) Скажи на милость, Метелл, что же это такое, как не издевательство над значением суда? Свидетелей, особенно и в первую очередь сицилийцев, робких и угнетенных людей, запугивать не только своим личным влиянием, но и своей

консульской должностю и властью двоих преторов! Можно себе представить, что сделал бы ты для невиновного человека или для родича, раз ты ради величайшего негодяя и человека, совершенно чужого тебе, изменяешь своему долгу и достоинству и допускаешь, чтобы тем, кто тебя не знает, утверждения Верреса казались правдой! (29) Ведь он, как говорили, заявлял, что ты избран в консулы не по воле рока, как другие члены вашего рода<sup>22</sup>, а благодаря его стараниям. Итак, оба консула и председатель суда — те люди, которые ему угодны. "Мы, — говорит он, — не только избавимся от человека, чересчур тщательно производящего следствие и слишком прислушивающегося к мнению народа, — от Мания Глабриона; нам и еще кое-что будет на руку. Среди судей есть Марк Цесоний, коллега нашего обвинителя<sup>23</sup>, человек испытанный и искушенный в судопроизводстве; нам совсем не выгодно, чтобы он входил в тот совет судей, который мы всячески постараемся подкупить, так как в прошлом он, входя в состав суда, где председательствовал Юний, не только был удручен пресловутым позорным случаем в суде, но даже сам разоблачил его<sup>24</sup>; после январских календ он судьей уже не будет. (30) Квинт Манлий и Квинт Корнифиций, двое строжайших и неподкупнейших судей, тоже не будут судьями, так как они тогда будут народными трибунами; Публий Сульпиций, суровый и неподкупный судья, в декабрьские ноны принимает новую должность<sup>25</sup>; Марк Креперей, в строгости воспитанный в суровой всаднической семье, Луций Кассий, также происходящий из семьи с самыми строгими взглядами как на все вообще, так и на правосудие, Гней Тремеллий, необычайно честный и добросовестный человек, все эти люди старого закала, все трое избраны в военные трибуны<sup>26</sup>; после январских календ все они уже не будут судьями. Кто-нибудь заменит по жребию и Марка Метелла, так как он будет председательствовать именно в этом постоянном суде. Таким образом, после январских календ, когда сменится претор и весь совет судей, мы вволю и всласть посмеемся и над страшными угрозами обвинителя, и над нетерпеливым ожиданием народа".

(31) Сегодня — секстильские ноны. Вы стали собираться в восьмом часу; этот день уже не идет в счет. Остается десять дней до игр, которые, согласно своему обету, намерен устроить Гней Помпей; на эти игры уйдет пятнадцать дней. Таким образом, наши противники рассчитывают отвечать на то, что будет сказано мной, только дней через сорок. Затем им, по их словам, разными отговорками и уловками будет легко добиться отсрочки суда до игр Победы; за ними тут же следуют Плебейские игры<sup>27</sup>, после которых либо совсем не останется дней для суда, либо если и останется, то очень мало. Таким образом, после того как обвинение потеряет свою силу и свежесть, дело поступит к претору Марку Метеллу еще неразобранным. Что касается его, то я, если бы не доверял его честности, не оставил бы его в составе суда. (32) Но при нынешних обстоятельствах я, пожалуй, предпочел бы, чтобы он при разборе этого дела был одним из судей, а не претором и распоряжался только своей собственной табличкой, принеся присягу, а не табличками других людей, не принеся ее<sup>28</sup>.

(XI) Теперь я спрашиваю вас, судьи, что же мне следует, по вашему мнению, делать. Вы, конечно, мысленно дадите мне совет, последовать которому я и сам считаю нужным. Если я для произнесения речи воспользуюсь временем, предоставленным мне по закону, то я пожну плоды своих трудов, стараний и усердия и покажу этой обвинительной речью, что никто никогда, с незапамятных времен, не являлся в суд более подготовленным, чем я, более бдительным, с более четко построенной речью. Но боюсь, как бы под завесой похвал, которые я стяжаю своим усердием, обвиняемый не выскользнул из моих рук. Что же мне делать? По моему мнению, ничто не может быть яснее и очевиднее. (33) Награду в виде похвал, которую я мог бы снискать непрерывающейся речью<sup>29</sup>, мы отложим до другого времени; теперь я буду обвинять Верреса на основании записей, свидетельских показаний, письменных доказательств, полученных мной от частных лиц и городских общин, и их официальных заявлений. Мне придется иметь дело с одним тобой, Гортенсий! Буду говорить прямо. Если бы я думал, что ты при слушании этого дела станешь выступать против меня, как обычно, — произнося защитительную речь и опровергая обвинения по отдельным статьям, то и я затратил бы все свои усилия, составляя обвинительную речь и излагая обвинение, статью за статьей. Но теперь, коль скоро ты решил сражаться со мной коварно, не столько следя своему личному вкусу, сколько считаясь с опасным положением подсудимого и его делом, то необходимо и мне противопоставить твоему образу действий тот или иной свой план. (34) Ты решил, что начнешь отвечать мне по окончании тех и других игр; я же — произвести комперендиацию<sup>30</sup> еще до первых игр. Таким образом, будет видно, что твой образ действий — хитрая уловка, а мое решение вызвано необходимостью.

(XII) Выше я заметил, что мне придется иметь дело с тобой. Объяснюсь подробнее. Когда я, по просьбе сицилийцев, взялся за это дело и счел лестным и почетным для себя, что мою честность и добросовестность хотят использовать те люди, которые уже узнали мое бескорыстие идержанность, тогда я, взяввшись за этот труд, поставил себе одновременно также и более важную задачу; когда она будет выполнена мной, римский народ поймет всю мою преданность государству. (35) Ибо я считал бы ниже своего достоинства прилагать так много труда и усердия для того только, чтобы к суду привлечь Верреса, уже осужденного всеобщим приговором, если бы твое нестерпимое властолюбие и та пристрастность, какую ты на протяжении последних лет проявлял в суде при разборе некоторых дел, не дали себя знать и в совершенно безнадежном деле этого человека. Но теперь, коль скоро ты так упоен этим господством и своей царской властью в судах<sup>31</sup>, коль скоро есть люди, которым их разнуданность и дурная слава не кажутся ни позорными, ни тягостными, которые, словно нарочно, поступками своими стараются навлечь на себя ненависть и недовольство римского народа, я открыто заявляю, что взял на себя, быть может, тяжелое и опасное, но вполне достойное меня бремя, и, чтобы нести его, я напрягу все силы, свойственные моему возрасту и настойчивости. (36) Так как все сословие сенаторов страдает из-за бесчестности и дерзости небольшого

числа людей, так как усиливаются нарекания на суды, то я объявляю этим людям, что буду непримиримым их обвинителем и полным ненависти, настойчивым, жестоким противником. Вот что я беру на себя, вот к чему стремлюсь; вот как буду действовать, вступив в должность эдила; вот о чем буду говорить с того места, на котором мне повелел стоять римский народ, чтобы я, начиная с январских календ, обращался к нему по делам государства и докладывал о бесчестных людях<sup>32</sup>. Это и будут те игры, которые я как эдил устрою для римского народа; они будут более блестящими и более великолепными; обещаю это. Напоминаю, предупреждаю, объявляю заранее: кто привык либо вносить деньги на счет, либо принимать их на хранение, либо получать их сам, либо сулить их другому, либо быть хранителем денег или посредником по подкупу суда и кто в данном случае проявил либо свое могущество, либо свое бесстыдство, пусть тот, при этом суде, ни делом, ни помыслами своими не участвует в этом нечестивом преступлении.

(XIII, 37) Итак, консулом тогда будет Гортенсий, облеченный высшим империем и властью<sup>33</sup>, а я — эдилом, то есть немногим выше, чем частное лицо; и все дело, которое я обязуюсь вести, таково, оно так близко сердцу римского народа и дорого ему, что в нем, в сравнении со мной, сам консул — если только это возможно — окажется значащим еще меньше, чем частное лицо.

Обо всем том, что в течение десяти лет, после того как суды были переданы сенату<sup>34</sup>, преступно и позорно совершалось при разборе дел в судах, я не только упомяну, но и подробно сообщу, приводя достоверные факты. (38) От меня римский народ узнает, почему в то время, когда судило всадническое сословие, — почти в течение пятидесяти лет подряд<sup>35</sup> — ни один римский всадник, судьи, не навлек на себя даже малейшего подозрения в том, что взял деньги за вынесение им приговора; почему, после того как суды были переданы сословию сенаторов, а римский народ был лишен власти над каждым из вас<sup>36</sup>, Квинт Калидий, будучи осужден, сказал, что претория неприлично осудить, не получив за это хотя бы 3 000 000 сестерциев<sup>37</sup>; почему в бытность Квinta Гортенсия претором, когда сенатор Публий Септимий был осужден за вымогательство, подлежавшая взысканию сумма была определена с учетом тех денег, которые Септимий взял за вынесение приговора<sup>38</sup>; (39) почему в случае с сенатором Гаем Гереннием, в случае с сенатором Гаем Попилием<sup>39</sup>, которые оба были осуждены за казнокрадство, в случае с Марком Атилием, осужденным за оскорбление величества римского народа<sup>40</sup>, было доказано, что они ранее взяли деньги за вынесение приговора; почему нашлись сенаторы, голосовавшие против обвиняемого и осудившие его без рассмотрения его дела, когда Гай Веррес, в бытность свою городским претором, производил жеребьевку; почему нашелся сенатор, который, будучи судьей, при слушании одного и того же дела взял деньги и с обвиняемого, чтобы распределить их между судьями, и с обвинителя за то, чтобы осудить обвиняемого<sup>41</sup>. (40) Где найти слова, чтобы оплакать падение нравов, позор и несчастье всего сословия, если в нашем государстве в то время, когда сенаторы заседали в судах, дело дошло до того, что таблички судей,

принесших присягу, были покрыты воском разного цвета? Все это я обязуюсь рассмотреть подробно и строго.

(XIV) Что же, по вашему мнению, буду испытывать я, заметив, что и в этом судебном деле подобным же образом сколько-нибудь оскорблено и поругано правосудие? Особенно, когда я мог бы доказать на основании слов многих свидетелей, что Гай Веррес не раз говорил в Сицилии в присутствии многих людей, что за ним стоит влиятельный человек, полагаясь на которого, он может грабить провинцию, а деньги он собирает не для одного себя; что он следующим образом распределил доходы своей трехлетней претуры в Сицилии: он будет очень доволен, если доходы первого года ему удастся обратить в свою пользу; доходы второго года он передаст своим покровителям и защитникам; доходы третьего года, самого выгодного и сулящего наибольшие барыши, он полностью сохранит для судей. (41) Ввиду этого мне приходит на ум сказать то, о чем я недавно говорил в присутствии Мания Глабриона при отводе судей и из-за чего, как я понял, римский народ сильно встревожился: по моему мнению, чужеземные народы, пожалуй, пришлют послов к римскому народу просить его об отмене закона о вымогательстве и суда по этим делам; ибо если такого суда не будет, то каждый наместник будет брать себеолько, сколько, по его мнению, будет достаточно для него самого и для его детей; но теперь, при наличии таких судов, каждый забирает столько, чтобы хватило ему самому, его покровителям, его заступникам, претору и судьям; этому, разумеется, и конца нет; по словам чужеземных народов, они еще могут удовлетворить алчность самого алчного человека, но оплатить победу тяжко виновного они не в состоянии.

(42) О, достопамятные суды! Какую громкую славу стяжало наше сословие<sup>42</sup>! Подумать только! Союзники хотят отмены суда за вымогательство, учрежденного нашими предками именно ради союзников! Разве Веррес питал бы какую-либо надежду на благоприятный исход суда, если бы у него не сложилось дурного мнения о вас? Поэтому Веррес должен быть вам ненавистен еще более, чем римскому народу, если это возможно, так как считает вас равными себе по алчности, способности к злодеяниям и клятвопреступлению.

(XV, 43) Во имя бессмертных богов, судьи! Проявите в этом случае заботливость и предусмотрительность. Предостерегаю и предупреждаю вас: я твердо убежден в том, что возможность избавить все сословие от ненависти, вражды, позора и бесславия вам дана свыше. В судах нет более ни строгости, ни добросовестности; можно даже сказать, что и самих судов нет. Поэтому римский народ и относится к нам с пренебрежением, с презрением; на нас лежит пятно тяжкого и давнего бесславия. (44) Ведь именно по этой причине римский народ так настаивал на восстановлении власти трибунов. Выставляя это требование, он, казалось, на словах требовал восстановления трибунала, на деле же — восстановления правосудия. И это хорошо понял Квинт Катул<sup>43</sup>, мудрейший и широко известный человек; когда Гней Помпей, храбрейший и прославленный

муж, внес предложение о восстановлении власти народных трибунов<sup>44</sup> и Катула спросили о его мнении, он с самого начала с глубокой уверенностью сказал: отцы-сенаторы роняют и позорят правосудие; если бы они, вынося приговоры, захотели считаться с мнением римского народа, то народ не требовал бы восстановления власти трибунов так настоятельно. (45) Наконец, когда сам Гней Помпей как избранный консул впервые выступил с речью на народной сходке вне городской черты<sup>45</sup> и когда он — чего, по-видимому, с нетерпением ожидали — дал понять, что намерен восстановить власть народных трибунов, то его слова вызвали в толпе перешептывание и одобрительные возгласы. Но когда он сказал на этой сходке, что ограблены и разорены провинции, а судебные приговоры выносятся позорные и гнусные, что он намерен обратить на это свое особое внимание и принять меры для устраниния этого зла, тогда римский народ действительно выразил свою волю уже не перешептыванием, а громкими криками.

(XVI, 46) Но теперь все люди стоят настороже и следят, как каждый из нас относится к своим обязанностям и соблюдает законы. Он видит, что до сего времени, после издания законов о трибунах, осужден только один сенатор и притом человек малосостоятельный. Хотя они и не порицают этого, но и хвалить им особенно нечего; ибо вовсе не заслуга быть бескорыстным там, где тебя никто не может, да и не пытается подкупить.

(47) В этом судебном деле вы вынесете приговор обвиняемому, а римский народ — вам. На примере этого человека будет установлено, может ли — если судьями являются сенаторы — быть осужден человек явно преступный и притом очень богатый. Ведь обвиняемый — такой человек, за которым не числится ничего, кроме величайших преступлений, причем состояние у него огромное; поэтому если он будет оправдан, то это вызовет только одно, самое позорное для вас подозрение; ни влияние, ни родственные связи, ни какие-либо его благовидные поступки, которые он, быть может, совершил в иных условиях, ни незначительность какого-либо его отдельного промаха не покажутся достаточно веским доводом для оправдания его столь многих и столь тяжких преступлений.

(48) Наконец, я так поведу дело, судьи, представлю такие факты, столь известные, столь хорошо засвидетельствованные, столь важные, столь очевидные, что никто не попытается, пусть в ход свое влияние, добиваться от вас оправдания Верреса. Впрочем, у меня есть верный путь и план, чтобы разоблачить и проследить все подобные попытки той стороны. Я поведу дело так, что все их замыслы не только дойдут до ушей всего народа; нет, римский народ даже увидит их воочию. (49) В вашей власти уничтожить и смыть позор и бесславие, вот уже столько лет лежащие на этом сословии. Всем известно, что со временем учреждения нынешних судов не было еще ни одного совета судей столь блестательного, столь достойного. Если и он в чем-либо погрешит, все люди решат, что уже не в этом сословии следует искать других, более подходящих судей, так как это невозможно, но что к вынесению судебных приговоров надо вообще привлечь другое сословие.

(XVII, 50) Поэтому, судьи, я прежде всего прошу бессмертных богов о том, на что я, мне кажется, могу надеяться: чтобы при слушании этого дела не нашлось ни одного бесчестного человека, кроме разве такого, чья бесчестность известна уже давно; но если в дальнейшем таких окажется несколько, то я заверяю вас, судьи, заверяю римский народ: с жизнью своей, клянусь Геркулесом, расстанусь я скорее, чем мне при преследовании их за их бесчестные поступки изменят силы и упорство.

(51) Но то зло, за которое я, не останавливаясь ни перед трудами, ни перед опасностями, ни перед враждебным отношением к себе, обязуюсь строго преследовать в случае, если оно окажется налицо, ты, Маний Глабрион, авторитетом своим, мудростью и бдительностью можешь предотвратить. Возьми на себя защиту правосудия, защиту строгости, неподкупности, честности, верности долгу; возьми на себя защиту сената, чтобы он, заслужив одобрение в этом судебном деле, стяжал похвалы и благосклонность римского народа. Подумай, какое место ты занимаешь, что должен ты дать римскому народу, чем обязан ты предкам; вспомни о внесенном твоим отцом Ацилиевом законе, на основании которого римский народ в делах о вымогательстве выносил безупречные приговоры при посредстве строжайших судей. (52) Перед твоими глазами примеры великих государственных людей, не позволяющие тебе забывать о славе твоего рода, днем и ночью напоминающие тебе, что у тебя были храбрейший отец, мудрейший дед, сильный духом тесть. Поэтому если ты, унаследовав силу и мужество своего отца Глабриона, будешь давать отпор наглейшим людям, если ты, с предусмотрительностью своего деда Сцеволы<sup>46</sup>, сумеешь предотвратить козни, направленные против твоего доброго имени и против этих судей, если ты, с непоколебимостью своего тестя Скавра<sup>47</sup>, будешь противиться всем попыткам заставить тебя вынести несправедливый, необдуманный и необоснованный приговор, то римский народ поймет, что, когда претор неподкупен и безкоризненно честен, когда совет судей состоит из достойных людей, богатства виновного подсудимого скорее усилили подозрение в его преступности, чем способствовали его оправданию.

(XVIII, 53) Я твердо решил не допускать, чтобы во время разбора этого дела сменились претор и совет судей. Я не потерплю, чтобы дело затянули до той поры, когда сицилийцев, которых до сего времени все еще не вызывали в суд рабы избранных консулов<sup>48</sup>, — их, вопреки обычаю, приглашали прийти всех сразу — могли бы вызвать ликторы консулов, уже приступивших к своим должностным обязанностям. Я не допущу, чтобы эти несчастные люди, в прошлом союзники и друзья римского народа, а ныне его рабы и просители, в силу консульского империя не только потеряли свои права, но даже были лишены возможности оплакивать потерю своих прав. (54) Я, конечно, не допущу, чтобы, после того как я произнесу речь, мне стали отвечать только через сорок дней, когда после столь продолжительного перерыва моя обвинительная речь, конечно, будет забыта. Я не соглашусь, чтобы приговор выносили тогда, когда это множество людей Италии, собравшихся отовсюду одновременно по

случаю комиций, игр и ценза<sup>49</sup>, покинет Рим. В этом судебном деле и награда в виде похвал, и угроза осуждения, по моему мнению, должны выпасть на вашу долю; труды и тревоги — на мою; знакомство с существом самого дела и память о том, что будет сказано каждым из нас, — на долю всех. (55) Приступая сразу к допросу свидетелей, я не ввожу никакого новшества; так и до меня поступали люди, ныне первые среди наших сограждан. Нововведение с моей стороны вы, судьи, можете усмотреть в порядке допроса свидетелей, который мне позволит предъявить обвинение в целом; как только я подкреплю статьи обвинения вопросами, доказательствами и объяснениями, я стану допрашивать свидетелей по каждой статье обвинения, так что вся разница между общепринятым и этим новым способом обвинения будет состоять только в том, что при первом свидетелей представляют после того, как уже сказано все, я же буду представлять свидетелей по каждой отдельной статье обвинения — с тем, чтобы мои противники имели такую же возможность допрашивать свидетелей, приводить свои доводы и выступать с речами. Если кто-нибудь пожелает выслушать непрерывающуюся обвинительную речь целиком, то он услышит ее во время второго разбора дела. Теперь же надо понять, что я действую так (с целью отразить своей предусмотрительностью коварные замыслы своих противников) по необходимости.

(56) Итак, вот в какой форме обвинение предъявляется при первом слушании дела: я утверждаю, что Гай Веррес в своей разнуданности и жестокости совершил много преступлений по отношению к римским гражданам и союзникам, много нечестивых поступков по отношению к богам и людям и, кроме того, противозаконно стяжал в Сицилии 40 000 000 сестерциев. Я докажу вам это с полной ясностью на основании свидетельских показаний, на основании книг частных лиц и официальных отчетов, и вы должны будете сами признать, что — даже если бы в моем распоряжении и было достаточно времени и свободных дней, чтобы говорить, не ограничивая себя, — в длинной речи все же никакой надобности не было. Я закончил.

### ПРИМЕЧАНИЯ РЕЧЬ ПРОТИВ ГАЯ ВЕРРЕСА (ПЕРВАЯ СЕССИЯ)

1. Имеются в виду сенаторские суды и сословие сенаторов. Речь идет о предстоящей промульгации Аврелиева закона о судоустройстве; см. речь 4, § 178. На основании Цецилиева-Дидиева закона 98 г. (и Юниева-Лициниева закона 62 г.) законопроект объявляли народу на форуме за три нундины (8-дневные недели) до его обсуждения и голосования в комициях; этот акт назывался промульгацией. Цецилиев-Дидиев закон запрещал также включать несколько вопросов в один законопроект.
2. *Aerarium* (эрарий) — государственное казначейство, находившееся при храме Сатурна. Эрарием управляли двое городских квесторов под контролем сената.
3. Во время поездки Цицерона в Сицилию для следствия. Он возвратился в Рим не через Регий и далее по суше, а морем — из Вибона до Велии.
4. Намек на слова македонского царя Филиппа. Ср. письмо Att., I, 16, 12 (XXII).
5. Цицерон хочет сказать, что 70 г., вследствие честности претора Мания Ацилия Глабриона, не благоприятен для Верреса.

6. О тщательности, с какой Цицерон вел следствие по делу Верреса, см. его речь в защиту Марка Эмилия Скавра, § 25.
7. См. выше, § 6.
8. Как обвинитель, так и обвиняемый имели право отводить судей, которых назначал претор. По закону Суллы об отводе судей (*lex Cornelia de reiectione iudicium*), обвиняемый, не принадлежавший к сословию сенаторов, мог отвести не больше трех судей; сенатор как обвиняемый пользовался более широким правом отвода судей.
9. См. вводное примечание.
10. *Цари* — это Гиерон II и Агафокл. *Императоры* — это Марк Марцелл, взявший Сиракузы в 212 г., и Публий Корнелий Сципион Эмилиан. О значении термина "император" во времена республики см. прим. 70 к речи 1.
11. Цицерон намекает на случай, произошедший в 75 г. при суде над Теренцием Варроном, обвиненным в вымогательстве. Квинт Горгенций, подкупив судей, роздал им таблички для голосования, покрытые воском необычного цвета, чтобы иметь возможность проследить за голосованием. На табличках по слою воска писали буквы "A" (*absolvo* — оправдываю), "C" (*condemno* — осуждаю), "NL" (*non liquet* — неясно); ненужную надпись судья стирал и опускал табличку в урну.
12. "*Избранный*" — перевод термина "*designatus*". Так назывался магистрат, уже избранный комициями, но еще не приступивший к исполнению своих обязанностей. Избранный магистрат считался частным лицом и мог быть привлечен к суду. "*Поле*" — Марсово, где происходили выборы.
13. *Гай Скрибоний Курион*, народный трибун 90 г., легат Суллы во время войны с Митридатом VI, консул 76 г.
14. Триумфальная арка, построенная консулом 121 г. Фабием Максимом Кунктатором на Священной дороге у входа на форум. [В действительности — Кв. Фабием Максимом Аллоброгским. — Любимова Ольга]
15. Имеется в виду *метание жребия* о полномочиях преторов (городская претура, разбор дел между чужеземцами и римскими гражданами, постоянные суды). Марк Метелл был в 69 г. городским претором.
16. *Fiscus* — ивовая корзина для перевозки денег; отсюда — "фиск", название казны в императорскую эпоху.
17. Имеются в виду комиции по выбору курульных эдилов на 69 г.
18. Подкуп избирателей считался преступлением (*crimen de ambitu* — "домогательство"). Так как голосование в комициях происходило по трибам, то кандидату надо было обеспечить себе голоса 18 триб (из общего числа 35 триб). Подкуп производился через раздатчиков (*divisores*); иногда деньги передавались посредникам (*sequestres*) и раздавались уже после выборов. Кандидаты иногда вступали в соглашение (*coitio*) о взаимной поддержке голосами своих сторонников. При домогательстве использовались также и "товарищества" (*sodalitates* — объединения граждан в пределах трибы, преследовавшие культовые цели) и "сообщества" (*collegia sodalicia* — объединения граждан в пределах трибы, объединения ремесленников). Для борьбы с незаконным домогательством был издан ряд законов. Корнелиев закон карал это преступление запрещением занимать государственные должности в течение 10 лет, Кальпурниев-Ацилиев закон 67 г. — денежным штрафом и неограниченным по времени запрещением занимать государственные должности. Туллиев закон 63 г., проведенный Цицероном, запрещал платить сторонникам, устраивать зрелища для народа и угождать трибы и карал изгнанием на 10 лет.
19. *Квинт Веррес*, по-видимому, был вольноотпущенником одного из Верресов. Название трибы иногда прибавлялось к родовому имени малоизвестного человека.
20. Порядок голосования центурий и триб во время выборов определялся жребием. Центурия (триба), голосовавшая первой, называлась *centuria (tribus) praerogativa*; ее голосованию обычно следовали остальные центурии (трибы). В подлиннике непереводимая игра слов.
21. Квинт Цецилий Метелл Критский.
22. Намек на стих Гнея Невия (III в.):

Злой рок дает Метеллов Риму в консулы!

(Перевод Ф.А. Петровского)

23. Марк Цесоний был избран в курульные эдилы на 69 г.
24. Имеется в виду дело Оппианика. См. речь 6, § 1, 103, 119, 138.
25. В декабрьские ноны (5 декабря) новоизбранные квесторы, после распределения между собой обязанностей по жребию в храме Сатурна, приступали к своим обязанностям.
26. *Военные трибуны* — командный состав римского легиона; для первых четырех легионов они избирались комициями (*tribuni militum comitati*); для прочих они назначались полководцем или же выбирались солдатами (*tribuni militum rufuli*). В легионе было 24 военных трибуна.
27. Обет устроить игры для народа был дан Помпеем в связи с военными действиями против Сертория. Игры должны были состояться с 16 августа по 1 сентября. Римские игры происходили с 5 по 19 сентября, игры Победы (Суллы, в 82 г.) — с 26 октября по 1 ноября, *Плебейские игры* — с 4 по 17 ноября.
28. В постоянных судах (*quaestiones perpetuae*) судьи приносили присягу; председатель суда не приносил ее.
29. Имеется в виду *oratio perpetua*, т.е. речь, которая не прерывается репликами и вопросами противной стороны. Ср. речь 1, § 73.
30. Для слушания уголовного дела было три возможности: 1) судебное следствие должно было быть закончено в одну сессию; 2) оно откладывалось один раз (*комперендиация*), дело должно было быть решено в две сессии; 3) оно откладывалось решением судей неограниченное число раз (*амплияция*). Амплияция была введена законом о вымогательстве, проведенным в 123 г. или 122 г. народным трибуном Манием Ацилием Глабрионом (Ацилиев закон). Другие законы распространяли ее на все уголовные суды. Она была отменена Сервилиевым законом о вымогательстве (111 г. или 106 г.) с заменой ее комперендиацией. Сулла вновь ввел амплияцию для уголовных дел, кроме суда о вымогательстве. Аврелиев закон о судоустройстве (70 г.) отменил амплияцию и комперендиацию и ввел первый способ.
31. Цицерон нередко говорит о "царской власти" Гортенсия в судах. Ср. речь 4, § 75. Понятия "царь" и "царская власть" имели для Цицерона отрицательный смысл и были равносильны понятиям "тиранн" и "тиранния". Царем и тиранном он назвал также и Гая Юлия Цезаря. См. речи 7, § 8, 15, 20, 32 сл., 35; 14, § 25; письма Att., I, 16, 10, (XXII); II, 13, 2 (XL); Fam., IX, 19, 1 (CCCCLXXVI); VI, 19, 1 (DCLII); XII, 1, 1 (DCCLIV); XI, 5, 3 (DCCCX); 8, 1 (DCCCXVI); "Об обязанностях", III, §§ 19, 82.
32. В городе Риме курульные эдилы имели ограниченную судебную власть в областях гражданской и уголовной, т.е. могли налагать штраф и в случае апелляции (привокации) к народу отстаивать принятую ими меру перед народом. *"Место"* — ораторская трибуна на форуме, "ростры"; она была в 338 г. украшена носовыми частями (тарами, рострами) вражеских кораблей.
33. *Imperium et potestas*. Об империи см. прим. 90 к речи 1. *Potestas* — власть магистрата, избранного комициями и не обладающего империем (эдил, квестор).
34. На основании закона Суллы о судоустройстве (81 г.).
35. Точнее — 42 года, на основании закона Гая Гракха о судоустройстве (123 г.). Римские всадники иногда выносили суровые приговоры магистратам, препятствовавшим им грабить провинции. Так, Публий Рутилий Руф, в 97 г. легат проконсула Азии, Квinta Муция Сцеволы, а впоследствии его преемник, был обвинен в вымогательстве и осужден. См. речь 8, § 21; письма Fam., I, 9, 26 (CLIX); Att., V, 17, 5 (CCIX); VI, 1, 15 (CCLI); VIII, 3, 6 (CCCXXXII); IX, 12, 1 (CCCLXVII); "Брут", § 115.
36. Намек на ограничение власти народных трибунов, произведенное Суллой.
37. *Квинт Калидий*, пропретор Испании в 79 г., был осужден после своего наместничества. *Преторий* — бывший претор.
38. После осуждения определялся материальный *ущерб*, который осужденный должен был возместить (*litis aestimatio*), по формуле: "Куда эти деньги попали" (*quo ista pecunia pervenerit*). Ср. речь 6, § 45; письмо Fam., VIII, 8, 2 (CCXXII). Здесь речь идет о взятке, полученной

членом суда *Публием Септимием Сцеволой* во время разбора дела Оппианика. См. речь 6, § 115.

39. *Гай Попилий* после осуждения жил в Нуцерии, где получил права гражданства.

40. *Crimen de maiestate, crimen minutae maiestatis populi Romani*. В эпоху республики умалением и оскорблением "величества римского народа" могло быть признано любое действие магистрата, объявленное вредным для государства: командование войском, закончившееся поражением, выезд наместника из провинции без разрешения сената, самочинное объявление войны, вообще дурное исполнение магистратом его обязанностей. Такие действия карались по Аппулеву закону (103 или 100 г.), Вариеву закону (90 г.) и Корнелиеву закону (81 г.) по суду в *quaestio perpetua de maiestate*.

41. Два последних факта, приводимые Цицероном, также относятся к делу Оппианика. См. речь 6, § 79, 89.

42. Т.е. *состовие сенаторов*, в которое Цицерон перешел из всаднического после своей квестуры в 75 г.

43. *Квинт Лутаций Катул Капитолийский*, консул 78 г., оптимат, один из судей Верреса. См. речь 5, § 51.

44. Речь идет об обсуждении в сенате закона о полном восстановлении власти народных трибунов, предложенного в 70 г. консулами Гнеем Помпеем и Марком Лицинием Крассом (*Ilex Pompeia Licinia de tribunicia potestate*). "Высказывать мнение" (*sententiam dicere*) — технический термин: мотивированное голосование сенатора.

45. *Ad Urbem*, т.е. вне померия (сакральная городская черта Рима). Помпей ожидал согласия сената на предоставление ему триумфа. См. прим. 45 к речи 4.

46. *Публий Муций Сцевола*, консул 133 г. См. "Брут", § 239; Att., VI, 1, 4 (CCLI).

47. *Марк Эмилий Скавр*, консул 115 г. и 107 г. Ср. речи 13, § 16; 16, § 101; "Об ораторе", I, § 214.

48. См. выше, § 27.

49. *Ценз* — производившееся через каждые пять лет составление списка римских граждан с распределением их на классы в зависимости от размера их имущества. Цензоры блюли строгость нравов, составляли список сенаторов и были вправе удалять из сената его членов, запятнавших себя позорным поведением. Сулла ограничил права цензоров. Цензоры 70 г. Гней Корнелий Лентул Клодиан и Луций Геллий Попликола произвели ценз, коснувшись 900 000 римских граждан; они удалили из сената 64 сенаторов из числа трехсот, введенных в сенат Суллой. См. прим. 93 к речи 6.

## РЕЧЬ ПРОТИВ ГАЯ ВЕРРЕСА

[*Вторая сессия, книга IV, "О предметах искусства". 70 г.*]

(I, 1) Перехожу теперь к тому, что сам Веррес называет своей страстью, его друзья — болезнью и безумием, сицилийцы — разбоем. Как мне назвать это, не знаю. Я расскажу вам об обстоятельствах дела, а вы оцените его по существу, а не по названию. Сначала ознакомьтесь с сутью дела, судьи! Тогда вы, пожалуй, не станете особенно доискиваться, как вам это назвать.

Я утверждаю, что во всей Сицилии, столь богатой, столь древней провинции, в которой так много городов, так много таких богатых домов, не было ни одной серебряной, ни одной коринфской или делосской вазы, ни одного драгоценного камня или жемчужины, ни одного предмета из золота или из слоновой кости, ни одного изображения из бронзы, из мрамора или из слоновой кости, не было ни одной писанной красками или тканой картины, которых бы он не разыскал, не

рассмотрел и, если они ему понравились, не забрал себе. (2) Мне кажется, я делаю весьма важное заявление; обратите внимание также и на то, как я делаю его. Ведь я не ради красного словца, не с целью усилить обвинение перечисляю все это по порядку. Когда я говорю, что он во всей провинции не оставил ни одного такого предмета, то я, знайте это, употребляю слова в их подлинном значении, а не так, как принято у обвинителей. Скажу еще яснее: он ничего не оставил ни в одном частном доме, не исключая также и домов своих гостеприимцев; ни в одном общественном месте, не пощадив даже и храмов; ничего не оставил ни у одного сицилийца, ни у одного римского гражданина; словом, ничего из того, что ему бросилось в глаза и пришло по вкусу, — будь это достоянием частным или же общественным, светским или же сакральным — не оставил он во всей Сицилии.

(3) С чего же мне лучше начать, как не с того города, который был предпочтен тобой всем прочим и был тебе особенно дорог?<sup>1</sup> С кого, как не самих представителей за тебя?<sup>2</sup> Ибо легче можно будет понять, как ты вел себя по отношению к тем, кто тебя ненавидит, кто тебя обвиняет, кто тебя преследует, когда окажется, что даже своих мамертинцев ты ограбил самым бессовестным образом.

(II) Гай Гей, в чем со мной легко согласятся все, кто бывал в Мессане, — мамертинец, во всех отношениях самый выдающийся среди своих сограждан. Его дом — едва ли не лучший в Мессане; во всяком случае самый известный там и наиболее открытый для наших сограждан и очень гостеприимный. Дом этот, до приезда Верреса, был так украшен, что и своему городу служил украшением; ибо в самой Мессане, имеющей, правда, красивое местоположение, стены и гавань, совсем нет предметов, которыми увлекается Веррес. (4) Была в доме у Гея благоговейно чтимая, очень древняя божница, перешедшая к нему от предков; в ней стояли четыре прекрасные статуи чрезвычайно искусной работы, пользовавшиеся широкой известностью; они могли бы доставить удовольствие, не говорю уже — этому ценителю и знатоку, но даже нам, которых он называет невеждами. Из них одна, мраморное изображение Купидона, изваяна Праксителем; как видите, я, производя следствие по делу Верреса, заучил даже имена художников<sup>3</sup>. Если не ошибаюсь, тот же художник изваял Купидона в таком же роде, находящегося в Феспиях, ради которого в Феспии приезжают путешественники; ведь приезжать туда больше не за чем. Даже знаменитый Луций Муммий, вывозя из этого города статуи Феспиад, которые ныне стоят перед храмом Счастья<sup>4</sup>, и другие несвященные изображения, не тронул этого мраморного Купидона, так как он был посвящен богам.

(III, 5) Но возвращаюсь к божнице. Та статуя Купидона, о которой я говорю, была из мрамора; с другой стороны находилась статуя Геркулеса, превосходно отлитая из бронзы. Ее приписывали, если не ошибаюсь, Мирону<sup>5</sup> и с полным основанием. Перед изображениями этих богов стояли маленькие алтари, ясно указывавшие любому человеку на святость божницы. Кроме того, там были две

бронзовые статуи средней величины, но необычайно красивые, представляющие, если судить по осанке и одежде, девушки, которые, подняв руки, держали на голове какие-то священные предметы, как это в обычае у афинянок. Статуи эти назывались канефорами;<sup>6</sup> что касается мастера, — кто он был? Ты напоминаешь мне, кстати, — их приписывали Поликлету<sup>7</sup>. Каждый из наших сограждан по приезде в Мессану их осматривал; все могли осматривать их в любой день; дом этот был славой города не менее, чем славой своего хозяина. (6) Гай Клавдий<sup>8</sup>, который, как известно, самым торжественным образом отпразнововал свое вступление в должность эдила, поставил этого Купидона на форуме на все то время, пока форум, украшенный в честь бессмертных богов и римского народа, находился в его распоряжении; так как Гай Клавдий связан с Геями узами гостеприимства и был патроном мамертинцев, то Геи с полной готовностью предоставили эту статую в его распоряжение, а он добросовестно возвратил ее. Недавно, — но что я говорю "недавно"? — нет, только что, в самое последнее время мы видели таких знатных людей, которые украшали форум и басилики<sup>9</sup> не добычей, взятой в провинциях, а богатствами своих друзей, предметами, предоставленными им их гостеприимцами, а не украденными преступной рукой. При этом они возвращали каждому то, что ему принадлежало, — и статуи и украшения, а не брали их из городов наших союзников и друзей будто бы на четыре дня, под предлогом празднования своего эдилитета, чтобы затем увезти их в свой дом и в свои усадьбы<sup>10</sup>. (7) Все эти статуи, о которых я говорил, судьи, Веррес взял у Гея из божницы; ни одной из них он, повторяю, не оставил, вообще ни одной, кроме одной очень старой деревянной статуи — Доброй Фортуны<sup>11</sup>, если не ошибаюсь; ее он не захотел держать в своем доме.

(IV) Заклинаю вас богами и людьми! Что это? Что это за судебное дело? Какая наглость! Ведь эти статуи, о которых я говорю, до того, как ты их увез, осматривал всякий, кто приезжал в Мессану, облеченный империем. Столько преторов, столько консолов перебывало в Сицилии и в военное и в мирное время, столько разных людей — я уж не говорю о честных, бескорыстных, набожных, — нет, столько алчных, столько бессовестных, столько преступных, и все же никто не считал себя таким сильным, таким могущественным, таким знаменитым, чтобы решиться потребовать для себя, взять что-либо из той божницы или хотя бы к чему-нибудь прикоснуться! А Веррес может забирать себе все самое прекрасное, где бы оно ни оказалось? Кроме него, никому ничего нельзя будет иметь? Столько богатейших домов поглотит один его дом? Для того ли все его предшественники не прикоснулись ни к одному из этих предметов, чтобы их забрал этот человек? Для того ли их возвратил Гай Клавдий Пульхр, чтобы их мог увезти Гай Веррес? Но ведь тот Купидон не стремился в дом сводника и в школу разврата; он был вполне доволен пребыванием в родной божнице; он знал, что Гею он достался от его предков как наследственная святыня, и не стремился попасть в руки наследника распутницы<sup>12</sup>.

(8) Но почему я так жестоко нападаю на Верреса? Меня могут остановить одним словом. Он говорит: "Все это я купил". Бессмертные боги! Превосходное

оправдание! Так это купца посылали мы в провинцию, облеченного империем и в сопровождении ликторов, чтобы он скапал все статуи, картины, все изделия из серебра и золота, слоновую кость, драгоценные камни, никому не оставляя ничего? Вот вам и оправдание от всех обвинений: "Все это было куплено". Если я соглашусь с твоим утверждением, что ты купил эти вещи, — ведь это, очевидно, будет единственным твоим возможным оправданием по этой статье обвинения — то прежде всего я спрошу тебя: какого мнения был ты о римском суде, если думал, что кто-нибудь сочтет допустимым, что ты, претор, облеченный империем, скапил столько таких драгоценностей, да и вообще мало-мальски ценных вещей во всей провинции?

(V, 9) Обратите внимание на предусмотрительность наших предков, которые, не предполагая, что возможны такие огромные злоупотребления, все же предвидели, что это могло произойти в частных случаях. Ни от кого из тех, кто выезжал в провинцию, облеченный властью или как легат<sup>13</sup>, они не ожидали такого безумия, чтобы он стал покупать серебро (оно ему давалось от казны) или ковры (они ему предоставлялись на основании законов<sup>14</sup>); покупку раба они считали возможной; рабами все мы пользуемся, и народ их нам не предоставляет; но предки наши разрешали покупать рабов только взамен умерших. И в том случае, если кто-нибудь из них умрет в Риме? Нет, только если кто-либо умрет там, на месте. Ибо они вовсе не хотели, чтобы ты богател в провинции, но только чтобы ты пополнил свою утрату, понесенную там. (10) По какой же причине они так строго запрещали нам покупки в провинциях? По той причине, судьи, что они считали грабежом, а не покупкой, если продающему нельзя продать свое имущество по своему усмотрению. Они понимали: если лицо, облеченоное империем и властью, захочет в провинциях купить что ему вздумается, у кого бы то ни было и если это будет ему разрешено, то он возьмет себе любую вещь — продается ли она или нет — по той цене, по какой он захочет.

Мне скажут: "Не приводи таких доводов, говоря о Веррессе, и не применяй к его поступкам правил строгой старины; согласись с тем, что покупка его законна, если только он совершил ее честно, не злоупотребив своей властью, не принудив владельца, не допустив беззакония". Хорошо, я буду рассуждать так: если Гей хотел продать что-либо из своего имущества, если он получил ту цену, какую назначил, то я не стану спрашивать, на каком основании купил ее ты. (VI, 11) Что же нам следует делать? Нужно ли нам в таком деле приводить доказательства? Мне думается, надо спросить: разве у Гея были долги, разве он устраивал продажу с торгов? Если да, то настолько ли он нуждался в деньгах, в таких ли стесненных обстоятельствах, в таком ли безвыходном положении был он, что ему пришлось ограбить свою божницу, продать богов своих отцов? Но он, оказывается, не устраивал никаких торгов, никогда ничего не продавал, кроме своего урожая; у него не только нет и не было долгов, но есть много своих денег и всегда их было много; оказывается, даже если бы все было иначе, он все-таки никогда бы не согласился продать эти статуи, бывшие в течение стольких

лет достоянием его рода и находившиеся в божнице его предков. "А что, если он польстился на большие деньги?" Трудно поверить, чтобы у такого богатого, такого почтенного человека любовь к деньгам взяла верх над благочестием и уважением к памяти предков. — (12) "Это так; но ведь иногда люди изменяют своим правилам, польстившись на большие деньги". Посмотрим теперь, велика ли была та сумма, которая смогла заставить Гея, очень богатого и совсем не алчного человека, забыть и свое достоинство, и уважение к памяти предков, и благочестие. Если не ошибаюсь, ты велел ему собственоручно внести в его приходо-расходные книги: "Все эти статуи Праксителя, Мирона и Поликлита проданы Верресу за 6500 сестерциев". Так он и записал. Читай. [Записи в приходно-расходных книгах]. Не забавно ли, что эти славные имена художников, которые знатоки превозносят до небес, так пали в мнении Верреса? Купидон Праксителя — за 1600 сестерциев! Конечно, отсюда и возникла пословица: "Лучше купить, чем просить".

(VII, 13) Мне скажут: "Вот как? Ты оцениваешь эти вещи так высоко?" — Нет, я оцениваю их не в соответствии со своими вкусами или со своим отношением к таким вещам, но все же полагаю, что вы должны руководствоваться той ценой, какую они имеют по мнению любителей, за какую их обычно продают, за какую можно было бы продать эти самые статуи, если бы они продавались открыто и свободно, какую, наконец, они имеют по оценке самого Верреса. Ибо, если бы этот Купидон, по мнению Верреса, стоил 400 денариев<sup>15</sup>, то он никогда бы не согласился сделаться из-за него предметом разговоров и навлечь на себя такое сильное порицание. (14) Кто из вас не знает, во сколько эти предметы ценятся? Не на наших ли глазах небольшая бронзовая статуя была продана на торгах за 40 000 сестерциев? А разве я, при желании, не мог бы назвать людей, давших не меньшую и даже большую цену? И в самом деле, насколько сильно твое желание купить такую вещь, во столько ты ее и ценишь; трудно установить предельную цену, не установив пределов для своей страсти. Итак, ясно, что ни собственное желание, ни затруднительные обстоятельства, ни предложенные тобой деньги не могли заставить Гея продать эти статуи, и ты под видом покупки при помощи насилия и угроз, пуская в ход свой империй и ликторские связки, отнял и увез статуи у человека, которого, как и других союзников, римский народ вверил не только твоей власти, но, особенно, твоей честности.

(15) Что может быть для меня, судьи, более желательным, чем подтверждение этого обвинения самим Геем? Ничто, конечно; но не будем желать того, что трудно достижимо. Гей — мамертинец, а мамертинская община — единственная, которая официально, по всеобщему решению, дает Верресу хвалебный отзыв; все остальные сицилийцы его ненавидят; одни только мамертинцы его любят; более того, главой посольства, присланного с хвалебным отзывом о Верресе, является Гей (ведь он — первый среди своих сограждан); и он, стараясь выполнить официальное поручение, пожалуй, должен умолчать об обиде, нанесенной лично ему<sup>16</sup>!

(16) Зная и обдумывая все это, судьи, я все-таки положился на Гея; я предоставил ему слово при первом слушании дела и сделал это, ничем не рискуя. В самом деле, что мог бы ответить Гей, будь он человеком бесчестным, а не тем, каков он в действительности? Что эти статуи находятся у него в доме, а не у Верреса? Как мог бы он сказать что-нибудь подобное? Будь он даже величайшим негодяем и бессовестнейшим лжецом, он мог бы сказать разве только одно — что назначил их к продаже и продал за столько, за сколько хотел. Будучи знатнейшим человеком у себя на родине, желая более всего, чтобы вы справедливо судили о его благочестии и чувстве собственного достоинства, он сначала сказал, что официально он Верреса восхваляет, так как это ему поручено; затем о том, что он не назначал тех статуй к продаже и что ни при каких условиях, если бы он был волен поступить, как захочет, его никогда бы не удалось склонить к продаже этих статуй, находившихся в божнице и оставленных и завещанных ему предками.

(VIII, 17) Почему же ты безучастно сидишь, Веррес? Чего ты ждешь? Почему ты говоришь, что Центурипы, Катина, Галеса, Тиндарида, Энна, Агирий и другие городские общины Сицилии стараются тебя подвести и погубить? А вот теперь Мессана, твоя вторая родина, как ты ее обыкновенно называл, она-то тебя и подводит; да, твоя Мессана, помощница твоя в злодеяниях, любовных дел твоих свидетельница, укрывательница твоей добычи и украденного тобой имущества. Ведь здесь присутствует влиятельнейший муж из этой городской общины, по случаю этого суда присланный оттуда в качестве ее представителя, первым выступивший с хвалебным отзывом о тебе, в официальном заявлении тебя прославляющий. Ибо так ему было поручено и приказано. Впрочем, вы помните его ответ, когда его спросили насчет кибеи<sup>17</sup>; по его словам, ее построили рабочие, собранные городом, и от имени общины постройкой ведал мамертинский сенатор.

И тот же Гей — как частное лицо — обращается к вам, судьи! Он ссылается на закон, на основании которого производится суд, на закон, являющийся оплотом для всех союзников<sup>18</sup>. Хотя это закон о вымогательстве денег, все же Гей, по его словам, денег обратно не требует; имущественный ущерб для него не особенно ощущителен; но возвращения святынь своих предков он, по его словам, от тебя требует; богов пенатов<sup>19</sup> своих отцов хочет вернуть себе. (18) Есть ли у тебя какое-нибудь чувство чести, какая-нибудь вера в богов, Веррес, хоть какой-нибудь страх перед законами? Ты жил в доме у Гея в Мессане; чуть ли не каждый день ты мог видеть, как он совершал обряды перед этими статуями богов в своей божнице. Ему не жаль денег; наконец, и статуй, служивших украшением дома, он не требует; оставь у себя канефор, но изображения богов возврати. И вот, за то, что он это сказал, за то, что он, союзник и друг римского народа, воспользовался удобным случаем, чтобы принести вам свою скромную жалобу, за то, что он был верен своему священному долгу не только тогда, когда требовал обратно от них богов, но и тогда, когда под присягой давал показания, Веррес, знайте это, отправил в Мессану человека, одного из представителей

городской общине, того самого, который, по ее поручению, ведал постройкой его корабля, с требованием, чтобы сенат объявил Гея человеком, утратившим гражданскую честь<sup>20</sup>.

(IX, 19) Безрассуднейший человек, о чем ты при этом думал? Что тебя послушаются? Неужели ты не знал, как уважали Гея его сограждане, каким влиянием он пользовался у них? Но допустим, что ты бы добился своего; допустим, что мамертинцы вынесли бы какое-нибудь строгое постановление против Гея. Какой, по-твоему, вес будет иметь их хвалебный отзыв, если они решат наказать человека, давшего заведомо правдивые свидетельские показания? Впрочем, чего стоит этот хвалебный отзыв, когда хвалящий, отвечая на вопросы, неизбежно должен дать отзыв неблагоприятный? Далее, разве эти представители за тебя не являются в то же время свидетелями с моей стороны? Гей выступает с хвалебным отзывом и в то же время он тебе очень сильно повредил; я предоставлю слово остальным; о чем они смогут умолчать, они умолчат охотно, а что придется сказать, то скажут даже против своего желания.

Могут ли они отрицать, что тот огромный грузовой корабль был построен для Верреса в Мессане? Пусть отрицают, если могут. Станут ли они отрицать, что постройкой этого корабля, по поручению городской общины, ведал мамертинский сенатор? Как хорошо было бы, если бы они стали это отрицать! Есть также и многое другое, чего предпочитаю не затрагивать, дабы дать свидетелям возможно меньше времени обдумывать, как им обосновать свое клятвопреступление. (20) Поздравляю тебя с этим хвалебным отзывом. Может ли служить для тебя поддержкой мнение тех людей, которые не должны были бы тебе помогать, если бы могли, но не могут, даже если бы захотели; которым ты нанес множество обид и оскорблений как частным лицам и в чьем городе ты своими бесчинствами и гнусностями опозорил так много семейств в лице всех их членов? Но ты, могут мне сказать, оказал услуги их городу. Да, но не без огромного ущерба для нашего государства и для провинции Сицилии. Мамертинцы должны были давать и обычно давали римскому народу в виде покупного хлеба 60 000 модиев<sup>21</sup> пшеницы; один ты освободил их от этой обязанности. Государство понесло ущерб, так как ты в одной городской общине поступился правами нашей державы; потерпели его и сицилийцы, так как из общего количества хлеба, подлежащего сдаче, ты этого количества хлеба не вычислил, а переложил его поставку на Центурипы и Галесу, независимые общине<sup>22</sup>, что оказалось для них непосильным бременем.

(21) Ты должен был приказать мамертинцам на основании договора поставить корабль; ты дал им для этого три года сроку: в течение этих лет ты не потребовал от них ни одного солдата. Ты поступил точно так же, как поступают морские разбойники; будучи врагами всем людям, они все же заручаются дружбой некоторых из них — с тем, чтобы не только их щадить, но даже обогащать своей добычей; это особенно относится к жителям городов, расположенных в удобном

для разбойников месте, куда их кораблям часто приходится приставать, иногда даже в силу необходимости.

(Х) Пресловутая Фаселида, которую завоевал Публий Сервилий<sup>23</sup>, раньше не принадлежала киликийцам и не была стоянкой разбойников; жителями ее были ликийцы, греки. Но она была расположена на мысе, выдававшемся в море так далеко, что морские разбойники, выходя на кораблях из Килиции, по необходимости часто приставали к ее берегам, а когда приплывали из наших краев, их корабли относило туда же; поэтому пираты вступили в сношения с этим городом; сначала в торговые, а затем также и в союз. (22) Мамертинская городская община ранее не была бесчестной; она даже была недругом бесчестным людям; ведь она задержала у себя обоз Гая Катона — того, который был консулом<sup>24</sup>. Какой это был человек! Прославленный и могущественнейший; и все-таки он после своего консульства был осужден. Да, Гай Катон, внук двоих знаменитейших людей, Луция Павла и Марка Катона, и сын сестры Публия Африканского<sup>25</sup>! После его осуждения — в то время, когда выносились суровые приговоры, — ущерб, подлежащий возмещению, был определен в 8000 сестерциев. Мамертинцы были раздражены против него — они, которые на завтрак для Тимархиды<sup>26</sup> не раз тратили больше, чем составляла сумма, подлежащая возмещению<sup>27</sup> Катоном.

(23) И этот город был подлинной Фаселидой для Верреса, сицилийского разбойника и пирата. Сюда все свозилось отовсюду, здесь же оставлялось на хранение; что надо было скрыть, то жители этого города складывали и прятали; при их посредстве Веррес тайком грузил на корабли, что хотел, и незаметно вывозил; наконец, у них он построил и снарядил огромный корабль, чтобы отправить его в Италию с грузом награбленного. За все это Веррес освободил их от затрат, тягот, военной службы, словом, от всего; в течение трех лет они одни в наше время не только в Сицилии, но, думается мне, во всем мире были безусловно и совершенно освобождены и избавлены от всяких издержек, хлопот и повинностей. (24) Отсюда пошли знаменитые Веррии<sup>28</sup>, во время которых он приказал привести к себе Секста Коминия; его Веррес, швырнув в него кубком, велел схватить за горло и отвести в темницу. Тогда и был сооружен крест (на нем он распял римского гражданина на глазах у толпы); его он осмелился воздвигнуть только в том городе, который был его соучастником во всех его злодеяниях и разбоев<sup>29</sup>.

(XI) И после всего этого вы являетесь с хвалебным отзывом? Какое значение может иметь ваш отзыв? Может ли он иметь какое-либо значение в глазах сената или же в глазах римского народа? (25) Есть ли городская община, — не только в наших провинциях, но и в отдаленнейших странах — которая мнила бы себя столь могущественной или столь независимой, вернее, была бы столь дика и неприветлива, чтобы не пригласить под свой кров сенатора римского народа<sup>30</sup>? Наконец, какой царь не сделал бы этого? Честь эту оказывают не только данному лицу, но прежде всего римскому народу, по чьему благоволению я вступил в это

составие<sup>31</sup>, затем авторитету всего этого сословия; ведь если последний не будет велик в глазах союзников и иноземных народов, то что станет с именем и достоинством нашей державы? Мамертинцы же от имени города меня к себе не пригласили. Что они не пригласили меня, не важно; но если они не пригласили сенатора римского народа, то они отказали в должном почете не одному человеку, а сословию. Ибо лично для Туллия был открыт великолепнейший дом Гнея Помпея Басилиска, куда я заехал бы даже в том случае, если бы и был приглашен вами; к моим услугам был также пользующийся величайшим уважением дом Перценниев, которые теперь тоже носят имя Помпеев<sup>32</sup>; в него, по их любезнейшему приглашению, заехал мой двоюродный брат Луций. Сенатор римского народа, если бы это зависело от вас, мог бы остаться в вашем городе на улице и провести ночь под открытым небом. Ни один другой город никогда так не поступал. — "Это потому, что ты пытался привлечь к суду нашего друга". — Ты, значит, мою деятельность как частного лица используешь как предлог для отказа сенатору в должном почете?

(26) Но на это я буду жаловаться лишь в том случае, если о вас зайдет речь среди членов того сословия, к которому доныне только вы одни отнеслись с пренебрежением<sup>33</sup>. А вот как осмелились вы предстать перед римским народом? А тот крест, по которому и теперь еще струится кровь римского гражданина, водруженный возле гавани вашего города? Неужели вы его не повалили, не бросили в море, не очистили всего того места искупительными жертвами, прежде чем явиться в Рим и предстать перед этим собранием? На земле союзного и мирного города мамертинцев воздвигнут памятник жестокости Верреса. Не ваш ли город выбран для того, чтобы все, едущие из Италии, видели крест римского гражданина раньше, чем встретят какого-либо друга римского народа? Ведь вы для того и показываете этот крест жителям Регия<sup>34</sup>, которым вы завидуете из-за предоставленных им прав римского гражданства, а равно и живущим у вас поселенцам<sup>35</sup>, римским гражданам, чтобы они стали менее заносчивы и не смотрели на вас свысока, видя, что их права римского гражданства уничтожены этой казнью.

(XII, 27) Но ты утверждаешь, что купил те предметы, о которых была речь. Ну, а те ковры во вкусе Аттала<sup>36</sup>, известные на всю Сицилию? Их ты забыл купить у того же Гея? Ты ведь мог приобрести их таким же способом, каким приобрел статуи. Что же произошло? Или тебе лень было приписать несколько букв? Нет, этот полоумный человек просто упустил из вида; он решил, что кража из шкафа будет менее заметна, чем кража из божницы. И как он ее совершил? Я не могу сказать яснее, чем вам сказал это сам Гей. Когда я его спросил, не попало ли к Верресу что-нибудь из его имущества, Гей ответил, что Веррес прислал ему приказ отправить ковры к нему в Агригент. Я спросил, послал ли он их. Он не мог не ответить, что повиновался слову претора и отправил ковры. Я спросил, довезли ли их до Агригента; он ответил утвердительно. Я задал вопрос, как они были ему возвращены; он ответил, что они не возвращены ему и поныне. Толпа захотела, а вы все были поражены. (28) И тут тебе не пришло на ум

приказать Гею, чтобы он записал в свои книги, что и эти вещи он также продал тебе за 6500 сестерциев? Или ты побоялся увеличить общую сумму своих долгов, если бы тебе в 6500 сестерциев обошлись вещи, которые ты легко продал бы за 200 000 сестерциев? Поверь мне, дело этого стоило; у тебя было бы что сказать в свою защиту; никто не спросил бы, сколько стоили эти вещи; если бы ты только мог сказать, что купил их, то тебе было бы легко перед кем угодно оправдаться в своем поступке; но теперь из дела с коврами тебе не вывернуться.

(29) А великолепные фалеры<sup>37</sup>, по преданию, принадлежавшие царю Гиерону? Отнял ты их или же купил у Филарха из Центурип, богатого и всем известного человека? Во всяком случае, когда я был в Сицилии, я и от центуриппинцев и от других людей — дело получило большую огласку — слышал следующее: ты взял у центуриппинца Филарха эти фалеры так же, как взял и другие, такие же знаменитые фалеры у Аристы из Панорма, как третья — у Кратиппа из Тиндариды. И в самом деле, если бы Филарх их тебе продал, то ты после внесения тебя в список обвиняемых не обещал бы ему их вернуть. Но так как ты убедился, что об этом все равно знают многие, то ты и рассудил: если ты отдашь фалеры, ценных вещей у тебя будет меньше, а свидетельских показаний против тебя не убавится; поэтому ты их и не отдал. Филарх как свидетель показал, что он, зная твою "болезнь", как выражаются твои друзья, хотел от тебя утаить фалеры и, когда ты его позвал к себе, он ответил, что их у него нет, и показал, что даже отдал их на хранение другому лицу, чтобы их не нашли; но ты оказался настолько проницательным, что тебе удалось осмотреть их при посредстве того самого человека, у которого они хранились, и тогда Филарх, будучи уличен, уже не мог запираться. Таким образом, у него отняли фалеры против его воли и притом даром.

(ХIII, 30) Теперь стоит, судьи, обратить внимание на то, как Веррес находил и выслеживал все ценные вещи. В Кибре жили два брата — Тлеполем и Гиерон; один из них, если не ошибаюсь, занимался лепкой из воска, другой — живописью. Они, по-видимому, заподозренные жителями Кибры в ограблении храма Аполлона, в страхе перед судом и законной карой бежали из родного города. Что Веррес — поклонник их искусства, они узнали еще тогда, когда он, как вам сообщили свидетели, приезжал в Кибру с письменными обязательствами, составленными для видимости<sup>38</sup>; поэтому, покинув свою родину и став изгнанниками, они обратились к нему, когда он был в Азии. Они находились при нем в течение всего этого времени, он много пользовался их помощью и советами при грабежах и хищениях, пока был легатом<sup>39</sup>. (31) Именно им Квинт Тадий<sup>40</sup>, согласно записи в его книгах, по приказанию Верреса заплатил деньги как "греческим живописцам". Хорошо узнав и проверив их на деле, Веррес взял их с собой в Сицилию. Они, когда туда приехали, всем на удивление, словно охотничьи собаки, все вынюхивали и выслеживали, находя тем или иным способом что бы и где бы то ни было. Одно они разыскивали посредством угроз, другое — посредством обещаний; одно — с помощью рабов, другое — с помощью свободных людей; одно — при посредстве друзей, другое

— при посредстве недругов; стоило вещи понравиться им, пиши — пропало. Те, от кого Веррес требовал серебряную утварь, желали одного — чтобы она не понравилась Гиерону и Тлеполему.

(XIV, 32) Это, клянусь Геркулесом, правдивый рассказ, судьи! Я припоминаю, как Памфил из Лилибая, мой друг и гостеприимец, знатный человек, рассказывал мне, что он — после того как Веррес, злоупотребив своей властью, отнял у него массивную гидрию<sup>41</sup> чудной работы, произведение Бозета, — возвратился домой опечаленный и расстроенный тем, что такой ценный сосуд, доставшийся ему от отца и предков, которым он пользовался в праздничные дни и при приеме гостей, у него отняли. "Сидел я у себя дома печальный, — говорил он, — вдруг прибегает раб Венеры<sup>42</sup> и велит мне немедленно нести к претору кубки с рельефами; я сильно встревожился, — продолжает он, — кубков у меня была пара; я велел достать оба кубка, чтобы не стряслось большей беды, и нести их со мной в дом претора. Когда я туда пришел, претор почивал; пресловутые братья из Кибира расхаживали по дому; увидев меня, они спросили: "Где же твои кубки, Памфил?" Показываю их с грустью; хвалят. Начинаю сетовать: если мне придется отдать также и эти кубки, у меня не останется ни одной сколько-нибудь ценной вещи. Тогда они, видя мое огорчение, говорят: "Сколько ты дашь нам за то, чтобы кубки остались у тебя?" Одним словом, — сказал Памфил, — они потребовали с меня тысячу сестерциев; я обещал дать их. В это время послышался голос претора, требовавшего кубки. Тогда они стали говорить, что на основании рассказов им казалось, что кубки Памфила представляют ценность, но это дрянь, недостойная находиться среди серебряной утвари Верреса. Тот сказал, что и он такого мнения". Так Памфил унес домой свои прекрасные кубки. (33) И хотя я, клянусь Геркулесом, полагал, что знать толк в этих вещах — дело пустое, все же я ранее был склонен удивляться, что Веррес несколько разбирается в этом. (XV) Только тогда и понял я, что те братья из Кибира для того и существовали при Верресе, чтобы он при своих хищениях пользовался своими руками, но их глазами.

Но Веррес настолько дорожит этой прекрасной репутацией знатока произведений искусства, что совсем недавно — судите о его безрассудстве уже после комперендиации<sup>43</sup>, когда его считали уже осужденным и мертвым как гражданина, он, во время игр в цирке, рано утром, когда в доме у Луция Сисенны<sup>44</sup>, виднейшего мужа, были постланы триклинии<sup>45</sup> и установлены серебряной утварью столы и когда, в соответствии с высоким положением Луция Сисенны, к нему явилось множество очень почтенных людей, подошел к серебряной утвари и начал не торопясь очень внимательно рассматривать каждую вещь. Одни удивлялись его глупости, так как он, находясь под судом, давал пищу подозрению, что действительно подвержен той самой страсти, какую ему приписывали; другие — его безрассудству, раз ему, после комперендиации, когда уже высказалось такое множество свидетелей, приходят на ум такие пустяки. Но рабы Сисенны, вероятно, потому что слышали свидетельские показания, уличавшие Верреса, не спускали с него глаз и ни на шаг не отходили

от серебра. (34) Хороший судья должен обладать способностью на основании мелочей судить и о жадности и о воздержности каждого. Если обвиняемый и притом обвиняемый, по закону еще только подвергнутый компарендиации, а в действительности и по всеобщему мнению, можно сказать, осужденный, в присутствии стольких людей не удержался и стал брать в руки и осматривать серебряную утварь Луция Сисенны, то кто допустит, что этот человек, в бытность свою претором в провинции, мог сдерживать свою страсть и не посягать на серебряную утварь сицилийцев?

(XVI, 35) Но — после этого отступления — вернемся в Лилибей. У Памфила, у того самого, у которого отняли гидрию, есть зять Диокл, по прозванию Попилий; у него Веррес отобрал все вазы, какие были расставлены на абаке<sup>46</sup>. Впрочем, он может сказать, что купил их; и в самом деле, в этом случае, ввиду значительной ценности забранных вещей, составлена запись. Он велел Тимархиду оценить серебряную утварь возможно дешевле — как никто не оценивал даже подарков для актеров<sup>47</sup>.

Впрочем, я уже давно иду по ложному пути, говоря о твоих покупках и спрашивая, купил ли ты эти вещи или не покупал их и как ты их купил и за сколько, в то время как я могу выразить это одним словом. Покажи мне записи о том, сколько серебряной утвари ты приобрел в провинции Сицилии, у кого ты купил каждую вещь и за сколько. (36) Ну, что же? Правда, мне не следовало бы требовать от тебя этих записей; ибо я должен был бы располагать твоими книгами и иметь возможность их предъявить. Но ты говоришь, что ты в течение нескольких лет не вел книг. Представь сведения о том, о чем я требую, — о серебряной утвари; насчет остального — дело мое. — "И записей нет у меня и предъявить мне нечего". — Как же быть? Что же, по твоему мнению, могут сделать наши судьи? В доме у тебя было множество прекрасных статуй еще до твоей претуры; многие из них стоят в твоих усадьбах, многие переданы на хранение твоим друзьям, много их раздано и раздарено другим людям; но в книгах не говорится ни об одной покупке. Вся серебряная утварь похищена из Сицилии; владельцам не оставлено ничего такого, что представляло бы малейшую ценность в их глазах. Придумывают ложное оправдание, будто все это серебро претор скупил; но именно это и нет возможности доказать на основании записей в книгах. Если в книгах, которые ты предъявляешь, не записано, как приобретено то, что у тебя имеется, а за последнее время, когда ты, по твоим словам, купил очень много вещей, ты вообще никаких книг не предъявляешь, то не должен ли суд — и на основании предъявленных и на основании непредъявленных тобой книг — вынести тебе обвинительный приговор?

(XVII, 37) Это ты в Лилибее отнял у римского всадника Марка Целия, отличного во всех отношениях молодого человека, все, что хотел; это ты не постыдился отнять у Гая Какурия, деятельного, предпримчивого и чрезвычайно влиятельного человека, всю его утварь; это ты, ни от кого не таясь, отнял в

Лилибее у Квinta Лутация Диодора, получившего отLuция Суллы, по ходатайству Квinta Катула, права римского гражданства, его огромный и великолепный стол цитрового дерева<sup>48</sup>. Не порицаю тебя за то, что ты обобрал человека, вполне достойного тебя, — Аполлония из Дрепана, сына Никона, которого теперь зовут Авлом Клодием, и отнял у него все его прекрасное чеканное серебро; об этом я молчу. Ведь он не считает себя обиженным, так как ты пришел ему на помощь, когда он был совершенно разорен и собирался надеть петлю на шею; при этом ты поделился с ним похищенным тобою у дрепанских сирот отцовским имуществом. Меня даже радует, что ты у него кое-что отнял, и я считаю это самым справедливым из твоих поступков. Но у Лисона, первого человека в Лилибее, в доме у которого ты жил, тебе во всяком случае не следовало отбирать статую Аполлона. Ты скажешь, что купил ее. Знаю, за тысячу сестерциев. — "Да, если не ошибаюсь". — Знаю, повторяю я. — "Я представлю записи". — Все же тебе не следовало так поступать. А подопечный Гая Марцелла, малолетний Гей, у которого ты отнял большую сумму денег? Ты утверждаешь, что ты купил у него в Лилибее чаши с рельефами, или же сознаешься, что отобрал их?

(38) Но к чему мне собирать подобного рода мелкие факты, касающиеся беззаконий Верреса и сводящиеся к хищениям, совершенным им, и к убыткам потерпевших? Если позволите, судьи, я приведу вам факт, из которого вы сможете усмотреть не просто жадность, а единственное в своем роде безрассудство и неистовство Верреса.

(XVIII) Диодор, уже выступавший перед вами как свидетель, родом из Мелиты, много лет подряд живет в Лилибее; он известный человек у себя на родине и ввиду своих высоких качеств блистательный и влиятельный в том городе, куда он переселился. Верресу говорят, что у него есть прекрасные вещи чеканной работы и, между прочим, так называемые ферикловы кубки, сделанные искуснейшей рукой Ментора<sup>49</sup>. Как только Веррес узнал об этом, он загорелся таким сильным желанием не только взглянуть на эти вещи, но и взять их себе, что позвал к себе Диодора и стал требовать кубки. Диодор, не имея никакой охоты расставаться с ними, отвечал, что их нет у него в Лилибее, что он оставил их в Мелите у одного из своих родственников. (39) Тогда Веррес тотчас же послал в Мелиту верных людей, написал кое-кому из жителей Мелиты, чтобы они все разузнали насчет этих сосудов, и просил Диодора написать своему родственнику; ожидание казалось ему бесконечным, настолько ему хотелось увидеть эти серебряные изделия. Диодор, честный и бережливый человек, желая сохранить свое имущество, в письме просил своего родственника ответить посланцам Верреса, что это серебро он недавно отоспал в Лилибей. Сам он тем временем уехал; он предпочел на некоторое время отлучиться из дома, лишь бы не потерять своего прекрасного серебра, оставаясь на месте. Узнав об этом, Веррес рассвирепел так, что все, без сомнения, сочли его помешавшимся и взбесившимся. Так как сам он не смог отнять серебро, то он начал твердить, что Диодор отнял у него вазы превосходной работы; он стал грозить уехавшему

Диодору, орать в присутствии всех, иногда с трудом сдерживая слезы. Есть предание об Эрифиле, жадность которой была так велика, что она, увидев, если не ошибаюсь, золотое ожерелье с драгоценными камнями и пленившись его красотой, предала собственного мужа<sup>50</sup>. Такая же жадность обуяла Верреса, даже еще более сильная и более безумная; ведь та женщина желала получить то, что она видела, а его желания возбуждались не только тем, что он видел, но и тем, о чем слышал.

(XIX, 40) Он велел искать Диодора по всей провинции; но тот уже успел покинуть Сицилию, собрав свои пожитки. Наш приятель, чтобы как-нибудь заманить Диодора обратно в провинцию, придумал вот какую уловку, если только это можно назвать хитрой уловкой, а не бессмысленной выдумкой: обратился к помощи одного из своих псов<sup>51</sup> с тем, чтобы тот заявил о своем намерении привлечь Диодора из Мелиты к уголовному суду. Вначале всем показалось странным, что обвиняют Диодора, человека в высшей степени смиренного, которого никому не приходило в голову и заподозрить, уже не говорю — в преступлении, даже в малейшем проступке; затем стало ясно, что всему виной серебро. Веррес не колеблясь велел возбудить обвинение против Диодора; именно тогда он, если не ошибаюсь, и внес его заочно в списки обвиняемых<sup>52</sup>.

(41) По всей Сицилии разнеслась весть, что из-за страсти к чеканному серебру людей привлекают к уголовному суду и притом даже заочно. Диодор в траурной одежде<sup>53</sup> стал обходить в Риме своих патронов и гостеприимцев и всем рассказал о своем деле. Веррес начал получать резкие письма от отца и друзей с советами обдумать свои действия по отношению к Диодору и их последствия, с сообщением, что дело получило огласку и вызывает возмущение, с подозрениями, что он не в своем уме и погибнет из-за одного этого обвинения, если не остережется. В то время Веррес еще относился к своему отцу, если не как к отцу, то все же как к человеку; он еще не запасся такими деньгами, чтобы не бояться суда. Это был первый год его наместничества, его сундуки еще не ломились от денег так, как во времена дела Стения<sup>54</sup>. Поэтому он несколько сдержался в своем неистовстве, но не из чувства чести, а из опасений и из страха. Он не посмел заочно вынести Диодору обвинительный приговор и вычеркнул его из списка обвиняемых. Между тем Диодор почти в течение трех лет, в бытность Верреса претором, жил вдали от провинции и своего дома.

(42) Все другие сицилийцы и даже римские граждане пришли к заключению, что, коль скоро Веррес так далекошел в своей страсти, никому не удастся ни спасти, ни сохранить у себя в доме ни одной вещи, какая приглянется ему; когда же они узнали, что тот стойкий муж, которого провинция ждала с нетерпением, — Квинт Аррий — не сменит Верреса<sup>55</sup>, они поняли, что у них нет ни одной вещи, которая могла бы быть заперта и спрятана так тщательно, чтобы она не оказалась открытой и доступной для страсти Верреса.

(XX) Вскоре после этого Веррес отнял у блестательного и влиятельного римского всадника Гнея Калидия, чей сын, как ему было известно, был

сенатором римского народа и судьей, серебряные кубки с конской головой, прекрасной работы, ранее принадлежавшие Квинту Максиму. (43) Но я напрасно заговорил об этом, судьи! Он их купил, а не отобрал; я сожалею, что так сказал; он будет красоваться и гарцоват на этих конях. — "Я купил их, заплатил деньги". — Верю. — "Даже книги будут предъявлены". — Ну, что ж, предъяви мне книги. Опровергни хотя бы это обвинение насчет Калидия, пока я буду просматривать твои книги. Но почему же Калидий жаловался в Риме, что он, в течение стольких лет ведя дела в Сицилии, лишь с твоей стороны встретил такое пренебрежение, такое презрение, что был обображен тобой наряду с остальными сицилийцами? Если ты купил у него это серебро, то какое было у него основание заявлять, что он потребует его у тебя по суду, раз он продал его тебе добровольно? Далее, мог ли бы ты повести дело так, чтобы не возвращать этого серебра Гнею Калидию, тем более, что он поддерживает столь дружеские отношения с твоим защитником Луцием Сисенном и что прочим друзьям Луция Сисенна ты возвратил их собственность? (44) Наконец, ты, я думаю, не станешь отрицать, что ты возвратил уважаемому человеку, но не более влиятельному, чем Гней Калидий, — Луцию Куридию — его серебряную утварь через посредство своего друга Потамона. Впрочем, из-за Куридия ухудшилось положение других людей. Ибо ты сперва обещал многим людям вернуть им их собственность, но после того как Куридий показал перед судом, что ты возвратил ему его вещи, ты возвращать награбленное перестал, видя, что добычу из рук ты выпускаешь, а избегнуть свидетельских показаний тебе все равно не удается.

Римскому всаднику Гнею Калидию ни один из других преторов не запрещал иметь у себя серебряную утварь хорошей работы; ни один из них не лишал его возможности пышно и богато украшать свой стол во время пиршеств, принимая у себя должностных или других высокопоставленных лиц. Многие люди, облеченные властью и империем, посещали дом Гнея Калидия, но ни один из них не был так безумен, чтобы забрать себе эти столь прекрасные и знаменитые серебряные изделия; ни один из них не был так нагл, чтобы выпрашивать их себе в дар; ни один из них не был столь бесстыден, чтобы потребовать от владельца продажи их. (45) Ведь это — самомнение и притом совершенно нестерпимое, судьи, если претор в провинции заявляет уважаемому, зажиточному и блестательному человеку: "Продай мне свои чеканные вазы!" Ведь это означает: "Ты не достоин владеть вещами такой художественной работы. Это может соответствовать только моему достоинству". А разве ты, Веррес, более достойный человек, чем Калидий? Не стану сравнивать твоей жизни с его жизнью, твоей репутации с его репутацией (ведь это и не поддается сравнению); сравню именно то, в чем ты считаешь себя выше его: не потому ли, что ты дал 300 000 сестерциев раздатчикам денег при скупке голосов, чтобы тебя объявили избранным в преторы, 300 000 — обвинителю, чтобы он не тревожил тебя<sup>56</sup>, ты и относишься свысока и с глубоким презрением к всадническому сословию? И поэтому ты, вероятно, и счел возмутительным, что вещью, которая тебе понравилась, владеет Калидий, а не ты?

(XXI, 46) Веррес давно уже хвалится своим поступком по отношению к Калидию и твердит всем, что купил у него эти вещи. А кадильницу<sup>57</sup> у Луция Папиния, виднейшего человека и зажиточного и почтенного римского всадника, ты тоже купил? Он показал как свидетель, что ты потребовал, чтобы ее тебе дали для осмотра, и что ты, сняв с нее накладные рельефы, возвратил ее, дабы вы поняли, что он знаток, а не алчный человек, и прельстился не серебром, а художественной отделкой.

И не только в случае с Папинием Веррес проявил такую воздержность: он следовал этому правилу всякий раз, как видел кадильницы, какие только были в Сицилии. А сколько их было и как прекрасны они были, трудно поверить. Очевидно, тогда, когда Сицилия процветала и была богата, на этом острове работало много искусных мастеров. Ибо, до претуры Верреса, в Сицилии не было мало-мальски зажиточного дома, где нельзя было бы найти таких предметов, как большого блюда с рельефными фигурами и изображениями богов, чаши для жертвоприношений, совершаемых женщинами, и кадильницы, — даже если в этом доме, кроме этих предметов, никакого серебра не было. Все это были вещи древней и художественной работы, так что можно предположить, что сицилийцы некогда имели в соответствующем числе также и другие ценные вещи, но что они, потеряв многое по воле судьбы, сохранили только то, что им велела оставить у себя религия.

(47) Я сказал, судьи, что вещей этих было много чуть ли не у всех сицилийцев, и я же утверждаю, что теперь у них не осталось ни единой. Что это значит? Какое чудовище, какого изверга послали мы в провинцию! Не кажется ли вам, что он, по возвращении своем в Рим, старался не просто наслаждаться видом красивых вещей и удовлетворять не только свою прихоть, но также и безумную страсть всех самых жадных людей? Как только он приезжал в какой-нибудь город, он немедленно выпускал своих кибирских псов, чтобы они все выследили и разнюхали. Если они находили большую вазу или вообще крупную вещь, они с восторгом ее тащили ему; но если им не удавалось затравить такого зверя, то они хватали хотя бы мелкую дичь — в виде небольших блюд, чащ, кадильниц. Как вы думаете, какой плач, какие сетования начинались среди женщин при таких обстоятельствах? Все это, быть может, покажется вам мелочью, но оно вызывает большую и глубокую скорбь, особенно у слабых женщин, когда у них вырывают из рук то, чем они привыкли пользоваться при религиозных обрядах, то, что они получили от родителей, то, что всегда принадлежало их семье.

(XXII, 48) Не ждите здесь, что я стану ходить из двери в дверь за обвинениями и говорить, что у Эсхила из Тиндариды он унес чашу, у Фрасона, также из Тиндариды, — небольшое блюдо, у Нимфодора из Агригента — кадильницу. Когда я представлю свидетелей из Сицилии, то пусть Веррес выбирает, кого захочет: я спрошу этого человека о блюдах, о чашах и о кадильницах; не найдется, уже не говорю — города, нет даже мало-мальски зажиточного дома, не пострадавшего от него. Придя на пирушки, он, заметив какую-нибудь чеканную

вещь, не мог удержаться, чтобы не наложить на нее рук, судьи! В Тиндариде живет некто Гней Помпей; ранее его звали Филоном. Он дал Верресу обед в своей усадьбе близ Тиндариды. Он сделал то, на что сицилийцы не решались: будучи римским гражданином, он подумал, что для него это будет не так опасно; он поставил на стол блюдо с превосходными рельефными изображениями. Стоило Верресу увидеть их, как он тотчас же без всяких колебаний забрал с гостеприимного стола это драгоценное достояние пенатов и богов-покровителей гостеприимства; но все же — ведь я ранее говорил о его умеренности — он, сняв рельефы, возвратил остальное серебро, не проявив никакой алчности. (49) А Евполем из Калакты, знатный человек, связанный узами гостеприимства с Лукуллами и их близкий друг, находящийся теперь в войске Луция Лукулла? Не поступил ли Веррес с ним точно так же? Веррес у него обедал; он поставил на стол только гладкое серебро, чтобы его не ограбили; но два небольших кубка были с рельефами. Веррес, словно он был красивым актером, тут же, чтобы не уходить с пира без подарка, на глазах у гостей велел снять изображения с этих кубков.

И я не пытаюсь теперь перечислить все его поступки; в этом нет нужды и это совершенно невозможно. Я только хочу дать вам образчики и примеры каждого из разнообразных видов его бесчестности. Ведь он вел себя не как человек, сознающий, что в будущем ему придется дать ответ во всем, но в полной уверенности, что он никогда не будет обвинен или же что опасность суда, предстоящего ему, будет тем меньше, чем больше он награбит. То, о чем я говорю, он делал уже не тайно, не через своих друзей и посредников, но явно, с высоты трибунала, в силу своего империя и власти.

(ХХIII, 50) Приехав в Катину, богатый, пользующийся почетом и процветающий город, он велел позвать к себе Дионисиарха, проагора, то есть высшее должностное лицо, и при всех приказал ему собрать и принести к нему всю серебряную утварь, какая только найдется у жителей Катины. Не слыхали ли вы, как центурион Филарх, выдающийся человек по своей знатности, достоинствам, зажиточности, говорил это же самое под присягой — что Веррес дал ему поручение и приказал собрать и доставить ему всю серебряную утварь, какая только найдется в Центурионах, одном из самых больших и самых богатых городов во всей Сицилии? Точно так же, по требованию Верреса, Аполлодор, чьи свидетельские показания вы слышали, отправил из Агирия в Сиракузы коринфские вазы.

(51) Но лучше всего следующее: приехав в Галунтий, он, этот усердный и добросовестный претор, не пожелал сам входить в город, так как подъем был труден и крут; он велел позвать галунтина Архагата, именитейшего человека не только у себя на родине, но и во всей Сицилии, и приказал ему немедленно свезти из города к берегу моря всю чеканную серебряную утварь, какая только найдется в Галунтии, а также все коринфские вазы. Архагат поднялся в город. Знатный человек, желавший сохранить любовь и расположение сограждан, был

удручен возложенным на него поручением, но делать было нечего. Он объявил о данном ему приказании и велел всем принести, что у кого было. Все перепугались донельзя; сам тиранн не двигался с места, а ждал под городом, лежа на лектике<sup>58</sup> у моря, Архагата и серебро. (52) Представляете ли вы себе, какая суматоха началась в городе, как кричали или, вернее, как плакали женщины? При виде этого всякий сказал бы, что в город ввезли Троянского коня, что город взят. Вазы выносят без футляров, их вырывают из рук у женщин, во многих домах ломают двери, сбивают замки. Подумайте только: бывает, что в связи с войной и чрезвычайным положением<sup>59</sup>, у частных лиц отбирают щиты и люди все же дают их неохотно, хотя они и знают, что дают их для всеобщего спасения; говорю об этом, дабы вы не думали, что кто-нибудь без глубокой скорби выносил из дома свою чеканную серебряную утварь, чтобы она досталась в добычу другому. Все отнесли Верресу; позвали кибирских братьев; небольшое число вещей не понравилось им; с тех вещей, которые им понравились, сорвали чеканные пластинки и рельефы; таким образом, галунтинцы возвратились домой с обчищенным серебром, лишившись своих любимых вещей.

(XXIV, 53) Была ли когда-либо, судьи, такая метла<sup>60</sup> в какой-либо провинции? Правда, нередко при посредстве местных властей кое-кто урывал что-нибудь из общинной казны; но даже тем, кто отнимал что-нибудь тайком у частного лица, все-таки выносили обвинительный приговор. И если вы хотите знать, я, даже в ущерб себе самому, считаю, что это и были настоящие обвинители, раз они хищения, совершенные такими людьми, выслеживали чутьем или же по оставленным ими легким следам. Но как же мне держать себя в деле Верреса, которого я нашел вывалявшимся в грязи, где остался след от всего его тела? Очень трудно выступать с речью против человека, который мимоходом, оставив на короткое время свою лектику, не обманом, а открыто, своей властью, одним своим приказанием ограбил целый город, дом за домом! Все же, чтобы иметь возможность сказать, что он купил это серебро, он велел Архагату для видимости дать несколько жалких сестерциев тем, кому принадлежала серебряная утварь; Архагат нашел лишь немногих, которые согласились взять деньги, и дал их им. Веррес, однако, Архагату этих денег не вернул. Архагат хотел по суду взыскать их в Риме, но Гней Лентул Марцеллин отсоветовал ему это, как вы слышали от него самого. Прочти показания Архагата и Лентула.

(54) Но не подумайте случайно, что Веррес хотел набрать такую кучу рельефов без всякой цели; посудите сами, как высоко ставил он вас, как высоко ценил он мнение римского народа, как уважал он законы, суды, свидетельские показания сицилийцев и дельцов. Собрав такое множество рельефов и никому ни одного не оставив, он устроил в царском дворце в Сиракузах<sup>61</sup> огромную мастерскую. Он открыто велел созвать всех художников-чеканщиков и мастеров, изготавляющих вазы; кроме этих мастеров, у него было немало также и своих. Все это множество людей он запер у себя. В течение восьми месяцев кряду у них не было недостатка в работе, причем они изготавливали одни только золотые вазы. Вот тогда-то украшения, сорванные с кадильниц, были так умело приделаны к

золотым кубкам, так удачно приложены к золотым чашам, что казалось, будто они были созданы именно для них; при этом сам претор, чьей бдительности, если верить его словам, Сицилия обязана своим спокойствием, проводил в этой мастерской большую часть дня, одетый в темную тунику и плащ<sup>62</sup>.

(XXV, 55) Я не осмелился бы говорить об этом, судьи, если бы не боялся, как бы вы не сказали мне, что вы в случайных беседах с другими людьми узнали о Веррессе больше, чем от меня в суде. В самом деле, кто не слыхал об этой мастерской, о золотых сосудах, о его плаще? Пусть мне назовут любого порядочного человека из сиракузского конвента<sup>63</sup>; я предоставлю ему слово; всякий скажет, что он либо слыхал об этой мастерской, либо видел ее.

(56) О, времена, о, нравы! Приведу вам не особенно давний пример. Не один из вас знал Луция Писона, отца ныне здравствующего Луция Писона, который был претором<sup>64</sup>. Когда он был претором в Испании — в той провинции, где его убили, — у него во время военных упражнений каким-то образом разломился на куски его золотой перстень. Желая заказать себе перстень, он велел позвать на форум в Кордубе, где он сидел в своем кресле<sup>65</sup>, золотых дел мастера и на виду у всех дал ему золота по весу; он велел мастеру поставить свой стул на форуме и делать перстень в присутствии всех. Быть может, его назовут излишне добросовестным; кто хочет, может его порицать, не более. Но ему это следовало простить: ведь он был сыном того Луция Писона, который первый предложил закон о вымогательствах. (57) Смешно, что я теперь говорю о Веррессе, после того как говорил о Писоне Фруги; но обратите внимание на разницу между ними: Веррес, хотя он и заказал вазы, которых бы хватило на несколько абаков, ничуть не заботило то, что ему пришлось бы услышать, не говорю уже — в Сицилии, но даже в Риме во время суда; Писон, при заказе на пол-унции золота, хотел, чтобы вся Испания знала, откуда то золото, из которого делают перстень для претора. Веррес, бесспорно, оправдал свое родовое имя, Писон — свое прозвание.

(XXVI) Никак не могу я ни обнять своей памятью, ни охватить своей речью все позорные поступки Верреса; я хочу коротко коснуться отдельных видов их; этот перстень Писона только что напомнил мне об одном из них, о котором я совершенно забыл. Как вы думаете, у скольких почтенных людей снял он перстни с пальцев? Он без колебаний делал это всякий раз, когда либо драгоценный камень, либо перстень нравился ему. Расскажу вам о случае невероятном, но столь ясном, что сам Веррес, полагаю я, не станет его отрицать. (58) Его переводчику Валенцию прислали письмо из Агригента, Веррес случайно обратил внимание на оттиск печати в белой глине<sup>66</sup>; печать понравилась ему; он спросил, откуда письмо получено; ему отвечали, что оно из Агригента. Он отправил письмо тем людям, которым обыкновенно писал в таких случаях, с приказанием, при первой возможности, доставить ему этот перстень. Таким образом, после его письма, был снят перстень с пальца почтенного отца семейства, римского всадника Луция Тиция.

Поистине жадность Верреса совершенно невероятна: ибо если даже допустить, что он хотел иметь по тридцати прекрасно убранных лож с прочими принадлежностями для пира для каждой из столовых, имеющихся у него не только в Риме, но и во всех его усадьбах, то и тогда он наготовил их себе слишком много. В Сицилии не было ни одного богатого дома, где бы он не устроил для себя ткацкой мастерской. (59) В Сегесте живет очень богатая и знатная женщина по имени Ламия; в течение трех лет ее дом был уставлен ткацкими станками, и у нее изготавливались ковры и притом только окрашенные пурпуром; то же делал богач Аттал в Нете, Лисон — в Лилибее, Критолай в Этне, в Сиракузах — Эсхрион, Клеомен и Феомнаст, в Гелоре — Архонид. Мне скорее не хватит дня для перечисления, а не имен. — "Но пурпур давал он, друзья его — только рабочую силу". — Верю; ведь я не склонен вменять ему в вину все; как будто мне недостаточно для обвинения и того, что у него было так много пурпур, который он мог дать; что он хотел вывезти так много; наконец, того, с чем он сам согласен: он пользовался при этом рабочей силой своих друзей. (60) Далее, изготавливались ли, по вашему мнению, в Сиракузах в течение трех лет для кого-нибудь, кроме него, ложа с бронзовыми украшениями и бронзовые канделябры? — "Он их покупал". — Верю; я только сообщаю вам, судьи, чем он, будучи претором, занимался в провинции, дабы никому не казалось, что он был недостаточно заботлив и не умел пользоваться властью, чтобы устроиться и обставить вполне удовлетворительно.

(XXVII) Перехожу теперь уже не к хищениям, не к жадности, не к алчности Верреса, а к такому его деянию, которое, на мой взгляд, охватывает и заключает в себе все нечестивые поступки; бессмертные боги были этим деянием оскорблены, уважение к римскому народу и авторитет его имени унижены; права гостеприимства поруганы; это преступление Верреса оттолкнуло от нас всех искренно расположенных к нам царей и подвластные им народы.

(61) Как вам известно, в Риме недавно были сирийские царевичи, сыновья царя Антиоха<sup>67</sup>; они приезжали не по поводу получения ими царской власти в Сирии (их права на нее были бесспорны, так как они унаследовали ее от отца и предков); но они полагали, что им и их матери Селене должна достаться царская власть в Египте. Когда, вследствие неблагоприятного положения дел в нашем государстве<sup>68</sup>, им не удалось при посредстве сената добиться того, чего они хотели, они выехали в Сирию, в царство своих отцов. Один из них, которого зовут Антиохом, пожелал ехать через Сицилию. И вот, он, во время претуры Верреса, прибыл в Сиракузы. (62) Тогда-то Веррес и решил, что ему досталось крупное наследство, так как в его царство приехал и в его руки попал человек, который, как он слыхал и подозревал, вез с собой много прекрасных вещей. Веррес послал ему довольно щедрые подарки для домашнего обихода — масла, вина, сколько нашел нужным, а также и пшеницы в достаточном количестве из своих десятин. Затем он пригласил самого царевича на обед. Он велел пышно и великолепно украсить триклиний<sup>69</sup> и расставить то, чего у него было вдоволь, — множество серебряных ваз прекрасной работы; ибо золотых он еще не успел

изготовить. Он постарался, чтобы пир был обставлен и снабжен всем, чем следует. К чему много слов? Царевич отбыл, убежденный и в том, что Веррес весьма богат, и в том, что ему самому был оказан должный почет.

Затем он сам пригласил претора на обед к себе; велел выставить напоказ все свои богатства — много серебряной утвари, не мало и золотых кубков, украшенных, как это принято у царей, особенно в Сирии, прекрасными самоцветными камнями. Среди них был и ковш для вина, выдолбленный из цельного, очень большого самоцветного камня, с золотой ручкой; вы слышали показания о нем, данные, я полагаю, вполне достойным доверия и авторитетным свидетелем, Квинтом Минуцием. (63) Веррес стал брать в руки один сосуд за другим, хвалить их, любоваться ими. Царевич радовался, что пир у него доставляет такое удовольствие претору римского народа. Когда гости разошлись, Веррес, как показал исход дела, стал думать только об одном — как бы ему отпустить царевича из провинции обобранным и ограбленным. Он обратился к нему с просьбой дать ему красивые вазы, которые он у него видел; он будто бы хотел показать их своим мастерам-чеканщикам. Царевич, не зная его, дал их очень охотно, без малейшего подозрения; Веррес прислал также за ковшом из самоцветного камня; он, по его словам, хотел внимательнее осмотреть его; ему послали и ковш.

(XXVIII, 64) Теперь, судьи, внимательно слушайте продолжение; впрочем, об этом вы слышали и римский народ услышит не впервые, и это дошло до чужеземных народов вплоть до самых далеких окраин. Те царевичи, о которых я говорю, привезли в Рим осыпанный чудесными камнями канделябр<sup>70</sup> изумительной работы, чтобы поставить его в Капитолии; но так как храм оказался неоконченным<sup>71</sup>, то они не смогли поставить там канделябр и не хотели выставлять его напоказ всем, чтобы, когда его, в свое время, поставят в святилище<sup>72</sup> Юпитера Всеблагого Величайшего, он показался и более драгоценным и более великолепным, и более блестящим, когда люди узрят его в его свежей и невиданной ранее красоте. Они решили увезти его с собой обратно в Сирию с тем, чтобы, получив известие о дедикации<sup>73</sup> статуи Юпитера Всеблагого Величайшего, снарядить посольство и среди других приношений доставить в Капитолий и этот редкостный и великолепнейший дар. Это каким-то образом дошло до ушей Верреса: ибо царевич хотел сохранить это в тайне, но не потому, что чего-либо боялся или что-нибудь подозревал, а так как не желал, чтобы многие люди увидели этот канделябр раньше, чем его увидит римский народ. Веррес начал просить и усиленно уговаривать царевича прислать ему канделябр; он, по его словам, желает взглянуть на него и никому не позволит видеть его. (65) Антиох, этот царственный юноша, конечно, не заподозрил Верреса в бесчестности; он велел своим рабам, самым тщательным образом закрыв канделябр, отнести его в преторский дом. Когда его принесли и поставили, сняв покрывала, Веррес стал восклицать, что вещь эта достойна сирийского царства, достойна быть царским даром, достойна Капитоля. И в самом деле, канделябр обладал таким блеском, какой должен был исходить от

столь блестящих и великолепных камней, отличался таким разнообразием работы, что искусство, казалось, вступило в состязание с пышностью, такими большими размерами, что он, несомненно, предназначался не для повседневного употребления в доме, а для украшения величайшего храма. Когда посланным показалось, что Веррес насмотрелся вдоволь, они начали поднимать канделябр, чтобы нести его обратно. Веррес сказал, что хочет смотреть еще и еще, что он далеко еще не удовлетворен; он велел им уйти и оставить канделябр у него. Так они вернулись к Антиоху с пустыми руками.

(XXIX, 66) Вначале у царевича не было ни опасений, ни подозрений; проходит день, другой, несколько дней; канделябра не возвращают. Тогда он посыпает к Верресу людей с покорной просьбой возвратить канделябр; Веррес велит им прийти в другой раз. Царевич удивлен, посыпает вторично; вещи не отдают. Он сам обращается к претору и просит его отдать канделябр. Обратите внимание на медный лоб Верреса, на его неслыханное бесстыдство. Он знал, он слышал от самого царевича, что этот дар предназначен для Капитолия; он видел, что его берегают для Юпитера Всеблагого Величайшего, для римского народа, и все-таки стал настойчиво требовать, чтобы дар этот отдали ему. Когда царевич ответил, что этому препятствует и его благовение перед Юпитером Капитолийским и забота об общем мнении, так как многие народы могут засвидетельствовать назначение этой вещи, Веррес начал осыпать его страшными угрозами. Когда же он понял, что его угрозы действуют на царевича так же мало, как и его просьбы, он велел Антиоху немедленно, еще до наступления ночи, покинуть провинцию: он, по его словам, получил сведения, что из Сирии в Сицилию едут пираты. (67) Царевич при величайшем стечении народа на форуме в Сиракузах — пусть никто не думает, что я привожу неясные улики и присочиняю на основании простого подозрения, — повторяю, на форуме в Сиракузах, призывая в свидетели богов и людей, со слезами на глазах стал жаловаться, что сделанный из самоцветных камней канделябр, который он собирался послать в Капитолий и поставить в знаменитейшем храме как памятник его дружеских чувств союзника римского народа, Гай Веррес у него отнял; утрата других принадлежавших ему вещей из золота и редких камней, находящихся ныне у Верреса, его не огорчает; но отнять у него этот канделябр — низко и подло. Хотя он и его брат уже давно в мыслях и в сердце своем посвятили этот канделябр, все же он теперь, в присутствии всего конвента римских граждан, дает, дарит, жертвует и посвящает его Юпитеру Всеблагому Величайшему и призывает самого Юпитера быть свидетелем его воли и обета.

(XXX) Найдутся ли силы и достаточно громкий голос, чтобы заявить жалобу и поддержать одно это обвинение? Царевича Антиоха, которого мы все почти в течение двух лет видели в Риме с его блестящей царской свитой, друга и союзника римского народа, сына и внука царей, бывших нашими лучшими друзьями, происходящего от предков, издревле бывших прославленными царями, и из богатейшего и величайшего царства, Веррес внезапно прогнал из провинции римского народа! (68) Как, по твоему мнению, примут это

чужеземные народы, что скажут они, когда молва о твоем поступке дойдет в чужие царства и на край света, когда узнают, что претор римского народа оскорбил в своей провинции царя, ограбил гостя, изгнал союзника и друга римского народа? Знайте, судьи, имя ваше и римского народа навлечет на себя ненависть и породит чувство ожесточения у чужеземных народов, если это великое беззаконие Верреса останется безнаказанным. Все будут думать — в особенности, когда эта молва об алчности и жадности наших граждан разнесется во все края, — что это вина не одного только Верреса, но также и тех, кто одобрил его поступок. Многие цари, многие независимые городские общины, многие богатые и влиятельные частные лица, конечно, намерены украшать Капитолий так, как этого требуют достоинство храма и имя нашей державы. Если они поймут, что вы похищение этого царского дара приняли близко к сердцу, то они будут считать, что их усердие и их подарки будут по сердцу вам и римскому народу; но если они узнают, что вы равнодушно отнеслись к такому вопиющему беззаконию по отношению к столь известному царю и к столь великолепному дару, то они впредь не будут столь безумны, чтобы тратить свои труды, заботы и деньги на вещи, которые, по их мнению, не будут вам по сердцу.

(XXXI, 69) Здесь я призываю тебя, Квинт Катул! Ведь речь идет о славном и прекраснейшем памятнике для тебя самого. По этой статье обвинения ты должен проявить не только строгость судьи, но, можно сказать, также и непримиримость недруга и обвинителя. Ведь именно тебе, милостью сената и римского народа, в этом храме воздается слава, твое имя становится бессмертным вместе с этим храмом; тебе следует потрудиться, тебе следует позаботиться о том, чтобы Капитолий, восстановленный в большем великолепии, был также и украшен еще богаче, дабы казалось, что пожар возник по промыслу богов — не для того, чтобы уничтожить храм Юпитера Всеблагого Величайшего, но чтобы потребовать постройки еще более прекрасного и более величественного храма. (70) Ты слыхал, как Квинт Минуций говорил, что царевич Антиох жил в его доме в Сиракузах; что он знает о передаче канделябра Верресу и о том, что он его не возвратил; ты уже слыхал и еще услышишь показания членов сиракузского конвента о том, что царевич Антиох в их присутствии пожертвовал и посвятил канделябр Юпитеру Всеблагому Величайшему. Даже если бы ты и не был судьей, но если бы тебе об этом заявили, то именно ты и должен был бы начать судебное преследование, ты — подать жалобу, ты — возбудить народ. Поэтому я и не сомневаюсь в строгости, с какой ты как судья отнесешься к этому преступлению, когда ты сам должен был бы вчинить иск и обвинять Верреса перед другим судьей с гораздо большей силой, чем это делаю я.

(XXXII, 71) А вы, судьи? Можете ли вы представить себе более возмутительный и более неслыханный поступок? Веррес будет держать в своем доме канделябр Юпитера, [украшенный золотом и драгоценными камнями]? Канделябр, который должен был освещать и украшать своим блеском храм Юпитера Всеблагого Величайшего, будет стоять у Верреса во время таких пиров, которые будут охвачены пламенем привычного для него разврата и

позора? В доме этого гнуснейшего сводника, вместе с другими украшениями, полученными по наследству от Хелидоны, будут находиться украшения Капитолия? Может ли, по вашему мнению, что-либо быть священным и неприкосновенным для этого человека, который даже теперь не сознает всей тяжести совершенного им преступления, который является в суд, где он не может даже обратиться с мольбой к Юпитеру Всеблагому Величайшему и попросить у него помощи, как поступают все люди; для человека, от которого даже бессмертные боги требуют возвращения своей собственности в этом суде, учрежденном для того, чтобы возвращения собственности требовали люди? И мы удивляемся, что Веррес оскорбил в Афинах Минерву, на Делосе — Аполлона, на Самосе — Юону, в Перге — Диану и, кроме того, многих богов во всей Азии и Греции, раз он даже от ограбления Капитолия удержаться не мог? Тот храм, который украшают и намерены украшать на свои деньги частные лица, Гай Веррес не позволил украшать царям! (72) После этого святотатства для Верреса уже не было ничего ни священного, ни запретного во всей Сицилии. Он три года вел себя в этой провинции так, словно объявил войну не только людям, но даже бессмертным богам.

(XXXIII) В Сицилии, судьи, есть очень древний город Сегеста, по преданию, основанный Энеем, когда он бежал из Трои и приехал в эту местность<sup>74</sup>. Поэтому жители Сегесты считают себя связанными с римским народом не только постоянным союзом и дружбой, но и кровным родством. Некогда эта община самостоятельно и по собственному почину вела войну с пунийцами; город был захвачен карфагенянами и разрушен ими, причем все статуи, какие только могли служить украшением городу, были увезены в Карфаген. В Сегесте была бронзовая статуя Дианы, отличавшаяся, помимо своей необычайной древности и святости, редкой художественной работой. Будучи перевезена в Карфаген, она переменила только место и поклонявшихся ей людей; благоговение перед ней осталось неизменным; ибо она, ввиду своей исключительной красоты, даже врагам казалась достойной почитания.

(73) Спустя несколько столетий, Публий Сципион во время третьей пунической войны взял Карфаген<sup>75</sup>. После этой победы — обратите внимание на доблесть и добросовестность Сципиона и вы порадуетесь примерам прославленной доблести наших сограждан и признаете необычайную дерзость Верреса заслуживающей еще большей ненависти, — Сципион, зная, что Сицилия очень долго и очень часто страдала от нападений карфагенян, созвал представителей всех городских общин Сицилии и приказал все разыскать; он обещал всячески позаботиться о том, чтобы каждому городу была возвращена вся его собственность. Тогда городу Фермам и было возвращено то, что было взято в Гимере, о чем я уже говорил; тогда одни предметы были возвращены Геле, другие — Агригенту; среди них был также тот знаменитый бык, принадлежавший, говорят, жесточайшему из всех тираннов, Фалариду<sup>76</sup>, который с целью казни сажал в него живых людей и приказывал разводить под ним огонь. Возвращая этого быка жителям Агригента, Сципион, говорят, сказал,

что им следует призадуматься над вопросом, что для них выгоднее: быть ли рабами своих соотечественников или же повиноваться римскому народу? Ведь один и тот же предмет будет служить памятником, напоминающим и о жестокости их согражданина и о нашем мягкосердечии.

(XXXIV, 74) В то время в Сегесту с величайшей заботливостью была возвращена та самая статуя Дианы, о которой я говорю; ее привезли в Сегесту и при громких выражениях благодарности и ликовании граждан поставили на ее прежнее место. Ее установили в Сегесте на довольно высоком цоколе, на котором крупными буквами было вырезано имя Публия Африканского и было написано, что он, взяв Карфаген, возвратил статую в Сегесту. Статуе Дианы поклонялись граждане; все приезжие ходили смотреть на нее; когда я был квестором, мне прежде всего показали эту статую. Это была очень большая и высокая статуя; богиня была одета в столу<sup>77</sup>; несмотря на размеры статуи, она казалась легкой и юной; на плече у нее висел колчан со стрелами; в левой руке она держала лук, в правой несла перед собой пылающий факел.

(75) Когда этот грабитель и враг всех священнодействий и обрядов увидел ее, он воспыпал такой жадностью и безумием, словно богиня поразила его тем самым факелом<sup>78</sup>. Он потребовал от местных властей, чтобы они сняли статую с цоколя и отдали ее ему; он указал им, что ему нельзя ничем более угодить. Но они отвечали, что это запрещено им божеским законом и что их удерживает от этого как строжайший религиозный запрет, так и страх перед законами и правосудием. Веррес стал то просить, то запугивать их, пускать в ход то обещания, то угрозы. В ответ ему они указывали на имя Публия Африканского; говорили, что статуя есть собственность римского народа, что они не властны над памятником, который прославленный император<sup>79</sup>, взяв вражеский город, захотел поставить как воспоминание о победе римского народа.

(76) Так как Веррес не отставал, более того — изо дня в день становился все настойчивее, то вопрос обсуждался в сенате<sup>80</sup>. Все резко возражали, и тогда, то есть в первый приезд, ему было отказано. После этого он именно на Сегесту начал налагать всяческие совершенно непосильные для населения повинности, требуя матросов и гребцов, приказывая доставлять ему хлеб. Кроме того, он вызывал к себе должностных лиц, посыпал за лучшими и знатнейшими из граждан, таскал их за собой из одного судебного округа провинции в другой<sup>81</sup>, каждому в отдельности сулил всевозможные беды, а всем им грозил, что сотрет с лица земли их город. Сломленные многочисленными бедствиями и сильным страхом, жители Сегесты, наконец, решили повиноваться приказанию претора. К великому горю и скорби всей общины, при громком плаче и причитаниях всех мужчин и женщин, был сдан подряд на снятие статуи Дианы.

(XXXV, 77) Обратите внимание, как велико было благоговение перед этой богиней: знайте, судьи, в Сегесте не нашлось никого — ни свободнорожденного, ни раба, ни гражданина, ни чужеземца, который бы осмелился прикоснуться к

этой статуе; были, наконец, привезены, знайте это, из Лилибетии какие-то рабочие из варваров и они, не зная обо всем деле и о религиозном запрете, за плату сняли статую. А знаете ли вы, какая толпа женщин собралась, когда статую вывозили из города, как плакали старики? Ведь некоторые из них еще помнили тот день, когда та же Диана, привезенная назад в Сегесту из Карфагена, своим возвращением возвестила о победе римского народа. Как непохож был этот день на те времена! Тогда император римского народа, прославленный муж, возвращал жителям Сегесты богов отчизны, отбитых им во вражеском городе; теперь из союзного города претор того же народа, гнуснейший и подлейший человек, увозил тех же богов, совершая нечестивое злодеяние. Разве не рассказывали по всей Сицилии о том, как все матроны и девушки Сегесты собирались, когда Диану увозили из их города, как они ее умащали благовониями, мазями, украшали венками и цветами, воскуряя ладан и благоуханные смолы, и провожали до самых границ своей земли?

(78) Если тогда, облеченный империем, ты в своей алчности и дерзости, не побоялся нарушить столь строгий религиозный запрет, то неужели даже теперь, когда тебе и твоим детям грозит такая большая опасность, он тебя не страшит? Какой человек — подумай об этом — придет тебе на помощь против воли богов и тем более, кто из богов, после того как тобой были оскорблены такие почитаемые святыни? Во времена мира и благополучия Диана тебе не внушила должного благовения к себе — она, которая, увидев взятыми и сожженными два города, где она находилась, дважды, во время двух войн, была спасена от огня и от меча; она, которая, переменив после победы карфагенян место своего пребывания, все-таки продолжала пользоваться поклонением, а возвратившись на свое прежнее место, благодаря доблести Публия Африканского, встретила такое же благоговейное отношение к себе?

Когда, после этого злодеяния Верреса, цоколь с вырезанным на нем именем Публия Африканского остался пустым, все стали негодовать и возмущаться не только поруганием святыни, но также тем, что Гай Веррес посягнул на славу подвигов Публия Африканского, храбрейшего мужа, на воспоминания о его доблести, на памятник его победы. (79) Когда Верресу сказали об этом, он решил, что все будет забыто, если он уничтожит и самый цоколь, как бы обличавший его в злодеянии. Поэтому по его приказанию был сдан подряд на снос цоколя; об условиях этого подряда вам прочитали во время первого слушания дела на основании записей в книгах города Сегесты.

(XXXVI) Тебя призываю я теперь, Публий Сципион<sup>82</sup>, да, тебя, украшенный высокими доблестями юноша! Настоятельно требую от тебя — исполни свой долг перед своим родом и именем. Почему ты сражаешься за того, кто унишил ваш прославленный и честный род? Почему ты хочешь, чтобы этот человек нашел защиту? Почему я выступаю здесь вместо тебя, почему я исполняю твой долг? Почему Марк Туллий требует восстановления памятников Публия Африканского, а Публий Сципион защищает того, кто уничтожил их? Неужели,

несмотря на то, что обычай, завещанный нам предками, требует, чтобы каждый оберегал памятники предков, не позволяя даже украшать их чужим именем, ты станешь поддерживать того, кто не просто преградил доступ с какой-либо стороны к памятнику Публия Сципиона, а разрушил его и уничтожил до основания? (80) Скажи, — во имя бессмертных богов! — кто же будет чтить память об умершем Публии Сципионе, оберегать памятники, свидетельствующие о его доблести, если ты их покидаешь, оставляешь на произвол судьбы и не только миришься с надругательством над ними, но и защищаешь того, кто над ними надругался и их осквернил?

Здесь находятся твои клиенты, жители Сегесты, союзники и друзья римского народа; они тебе говорят, что Публий Африканский, разрушив Карфаген, возвратил статую Дианы их предкам, что она была поставлена в Сегесте и подвергнута дедикации от имени этого императора; что Веррес приказал снять ее с подножия и увезти, а имя Публия Сципиона вообще уничтожить и стереть всякие следы его; они умоляют и заклинают тебя вернуть им их святыню, а твоему роду — честь и славу, чтобы то, что они, благодаря Публию Африканскому, получили из вражеского города, они могли, благодаря тебе, спасти из дома грабителя.

(XXXVII) Какой ответ можешь ты, говоря по чести, дать им? Что могут они делать, как не умолять тебя о покровительстве? Они находятся здесь и тебя умоляют. Ты можешь поддержать величие своего рода, Сципион, ты это можешь; в тебе есть все то, чем судьба или природа дарит людей. Я не хочу заранее присваивать себе плоды того, что входит в твои обязанности, и стяжать похвалы, довлеющие другим людям; чужих заслуг я не добиваюсь; мне, при моем чувстве долга, не следует, пока жив и невредим Публий Сципион, юноша в полном расцвете сил, объявлять себя передовым бойцом и защитником памятников Публия Сципиона. (81) Поэтому, если ты обязуешься оберегать славу своего рода, мне надо будет не только молчать о ваших памятниках, но и радоваться, что Публию Африканскому после его смерти выпала завидная доля: заслуженный им почет защищают члены его же рода, и он не нуждается в чьей-либо посторонней помощи. Но если тебе мешает твое дружеское отношение к Верресу, если ты полагаешь, что выполнение моего требования в твои обязанности не входит, то я заменю тебя, я возьму на себя дело, которое я не считал своим.

Но пусть тогда ваша прославленная знать отныне перестанет сетовать на то, что римский народ охотно предоставляет и всегда предоставлял почетные должности деятельным новым людям<sup>83</sup>. Нечего сетовать на то, что в нашем государстве, повелевающем всеми народами благодаря своей доблести, самое большое значение придается именно доблести. Пусть другие хранят у себя изображение Публия Африканского, пусть доблостью и именем умершего украшаются другие; этот знаменитый муж был таким человеком, оказал римскому народу такие услуги, что хранить его память должен не один его род, а

все государство. Это потому является и моей обязанностью как человека, что я принадлежу к тому государству, которое он сделал обширным, знаменитым и славным, особенно же и потому, что я по мере своих сил подражаю ему в том, в чем он превосходил других людей: в справедливости, трудолюбии, умеренности, в защите обиженных, в ненависти к бесчестным; это родство, основанное на сходных стремлениях и трудах, не менее тесно, чем то, каким гордитесь вы, — родство по происхождению и имени.

(XXXVIII, 82) Я требую от тебя, Веррес, памятника Публия Африканского; дело сицилийцев, которое я взялся вести, я оставляю; суда по делу о вымогательстве пусть в настоящее время не будет; беззакониями по отношению к жителям Сегесты пусть в настоящее время пренебрегут. Пусть будет восстановлен цоколь, поставленный Публием Сципионом; пусть вырежут на нем имя непобедимого императора; пусть будет воздвигнута на ее прежнем месте прекрасная статуя, взятая в Карфагене. Этого требует от тебя не защитник сицилийцев, не твой обвинитель, не жители Сегесты, но тот, кто взялся берегать и охранять честь и славу Публия Африканского.

Я не боюсь, что выполнение мной этого долга не будет одобрено судьей Публием Сервилием; так как он сам совершил величайшие подвиги и теперь усиленно занят сооружением памятников, которые должны их увековечить, он, конечно, захочет передать эти памятники не только своим потомкам, но и всем храбрым мужам и честным гражданам для охраны, а не на разграбление бесчестным людям. Я не боюсь, что ты, Квинт Катул, воздвигший величайший и славнейший в мире памятник, не согласишься с тем, чтобы возможно большее число людей было охранителями памятников и чтобы все честные люди считали защиту славы других людей своей обязанностью. (83) Меня самого остальные грабежи и гнусные поступки Верреса возмущают лишь в такой мере, что я считаю нужным только осуждать их; но в этом случае я испытываю сильнейшую скорбь, ибо мне кажется, что не может быть поступка более недостойного, более недопустимого. Веррес украсит памятниками Публия Африканского свой запятнанный развратом, запятнанный гнусностями, запятнанный позором дом? Веррес поместит памятный дар высоконравственного, благороднейшего мужа — статую девы Дианы — в доме, из которого не выходят гнусные распутницы и сводники.

(XXXIX, 84) Но, скажешь ты, это был единственный памятник Публия Африканского, который ты осквернил! А разве в Тиндариде ты не забрал прекрасной статуи Меркурия, воздвигнутой тем же Сципионом в знак его благоволения к ее жителям? И каким образом, — бессмертные боги! — как нагло, как самовольно, как бесстыдно! Вы недавно слышали показания представителей Тиндариды, людей весьма уважаемых и первых среди своих сограждан: статую Меркурия, в честь которого с величайшим благоговением ежегодно совершались обряды, статую, которую Публий Африканский, взяв Карфаген, отдал Тиндариде в память и в знак не только своей победы, но и их

верности как союзников, Веррес насильственно, преступно, на основании своего империя у них отнял. Тотчас же по своему приезде в этот город Веррес — словно это было не только допустимо, но и совершенно необходимо, словно таково было поручение сената и повеление римского народа — велел снять статую с цоколя и отправить в Мессану. (85) Так как присутствовавшим это показалось возмутительным, а тем, кто об этом слышал — невероятным, то он, в свой первый приезд не настаивал. Уезжая, он поручил проагору<sup>84</sup> Сопатру, который уже давал вам показания, снять статую с цоколя; когда тот не согласился, он стал ему угрожать и немедленно уехал из города. Проагор доложил сенату; все ответили решительным отказом. Коротко говоря, Веррес вторично приехал в город через некоторое время и тотчас же осведомился о статуе. Ему ответили, что сенат не дает своего согласия, что вся кому, кто к ней прикоснется без разрешения сената, грозит смертная казнь; заодно упомянули и о религиозном запрете. Тогда Веррес: "О каком толкуешь ты мне религиозном запрете, о какой казни, о каком сенате? Живым не выпущу; умрешь под розгами, если мне не отдадут статуи". Сопатр вторично, со слезами на глазах, доложил сенату о положении дела, сообщил об алчности и об угрозах Верреса. Сенаторы не дали Сопатру никакого ответа, но разошлись в волнении и смятении. Проагор, явившись по зову претора, объяснил ему положение дела и сказал ему, что его требование не выполнимо. (XL) Обратите внимание (ведь не следует пропускать ничего такого, что имеет отношение к бессовестности Верреса), что это говорилось во время присутствия, всенародно, с кресла наместника, с возвышенного места.

(86) Была глубокая зима; погода, как вы слышали от самого Сопатра, была очень холодная, шел сильный дождь, как вдруг Веррес приказал ликторам столкнуть Сопатра с портика, где сам он сидел, на форум и раздеть донага; едва успел он отдать это распоряжение, как Сопатр уже стоял голый, окруженный ликторами. Все думали, что несчастный и притом ни в чем не виноватый человек будет засечен розгами. В этом они ошиблись. Неужто Веррес станет без оснований сечь розгами союзника и друга римского народа? Не настолько он бессердчен: не все пороки соединены в одном человеке; никогда не был он жесток. Он обошелся с Сопатром мягко и милосердно. В Тиндарида, как почти во всех городах Сицилии, посреди форума стоят конные статуи Марцеллов; из них он выбрал статую Гая Марцелла<sup>85</sup>, который еще недавно оказал величайшие услуги этому городу и вообще всей провинции. Вот к ней он и приказал привязать, с разведенными руками и ногами, Сопатра, известного человека у него на родине и к тому же занимающего высшую должность. (87) Какие мучения испытал он, привязанный обнаженным под открытым небом, в дождь и холод, может себе представить каждый. И этой оскорбительной жестокости был положен конец не раньше, чем вся присутствовавшая толпа народа, возмущенная ужасным зрелищем и охваченная чувством сострадания, своим криком заставила сенат обещать Верресу ту статую Меркурия. Люди кричали, что бессмертные боги сами отомстят за себя, но что невинный человек не должен погибать. Тогда

сенат в полном составе явился к Верресу и обещал ему отдать статую. Еле живой, почти окоченевший Сопатр был снят со статуи Марцелла.

Я не могу обвинять Верреса с надлежащей последовательностью, если бы и желал: для этого надо обладать не просто дарованием, но, так сказать, особенным искусством. (XLI, 88) Этот случай со статуей Меркурия в Тиндариде дает одну статью обвинения, и я представляю ее как таковую; между тем в ней одной заключается несколько статей; как мне их различить и разделить — не знаю. Здесь и вымогательство, так как Веррес взял у союзников статую, стоившую больших денег, и казнокрадство, так как он не поколебался присвоить себе статую, составлявшую собственность римского народа, взятую из захваченной у врагов добычи и поставленную от имени нашего императора; здесь и оскорбление величества<sup>86</sup>, так как он осмелился снять и увезти памятник нашей державы, нашей славы и подвигов; здесь и святотатство, так как он оскорбил величайшие святыни; здесь и жестокость, так как он придумал новый и утонченный вид мучения для невинного человека, вашего союзника и друга.

(89) Но вот чего не могу я понять, вот чему не придумаю я названия — как он воспользовался для этого статуей Гая Марцелла. Почему? Не потому ли, что это был патрон сицилийцев<sup>87</sup>? И что же? Какой вывод можно было сделать из этого? Что это обстоятельство может означать для клиентов и гостеприимцев и пользу и несчастье? Или ты хотел показать, что от твоего самоуправства не защитит никакой патрон? Но кто же не знает, что империй присутствующего негодяя сильнее покровительства отсутствующих честных людей? Или, может быть, в этом поступке сказываются твое поистине исключительное самомнение, заносчивость и спесь? Ты, видимо, думал умалить величие Марцеллов. Так, значит, Марцеллы теперь уже не патроны сицилийцев; их место занял Веррес. (90) Какую же доблесть, какие достоинства открыл ты в себе, раз ты попытался перевести на себя клиентелу такой блестательной, такой знаменитой провинции, отняв ее у надежнейших и давнишних патронов? Да разве ты, при твоей испорченности, тупости и лености, можешь обеспечить клиентелу, уже не говорю — всей Сицилии, нет, хотя бы одного, самого нищего сицилийца? И это тебе статуя Марцелла послужила орудием для пытки клиентов Марцеллов? Поставленный ему почетный памятник ты хотел превратить в орудие мучения для тех, кто ему оказал почет? А далее? Какой представлял ты себе дальнейшую участь своих собственных статуй? Такой ли, какой она оказалась в действительности? Ведь как только жители Тиндариды узнали, что Верресу назначен преемник, они опрокинули статую Верреса, которую он велел поставить рядом со статуями Марцеллов и притом на более высоком цоколе.

(XLII) Судьба, благоволящая сицилийцам, теперь дала тебе в качестве судьи Гая Марцелла с тем, чтобы мы передали тебя, связанным и скованным, на строгий суд тому человеку, к чьей статуе, во время твоей претуры, привязывали сицилийцев. (91) Сначала, судьи, Веррес пытался утверждать, что жители Тиндариды продали эту статую Меркурия присутствующему здесь Марку

Марцеллу Эсерину, и надеялся, что также и Марк Марцелл подтвердит это. Я всегда отказывался верить, что молодой человек из такого знатного рода, патрон Сицилии, согласится дать свое имя для того, чтобы снять вину с Верреса. Но мной все предусмотрено и приняты все меры предосторожности, так что, если бы, сверх ожидания, и нашелся охотник взять на себя вину Верреса и стать обвиняемым по этой статье, он все же ничего не мог бы достигнуть; ибо я привез таких свидетелей и доставил такие письменные доказательства, что в вине Верреса не может быть никаких сомнений. (92) Из официальных записей видно, что статуя Меркурия была отправлена в Мессану за счет города; в них говорится, каковы были расходы; этим делом от имени города ведал легат Полея. Вы спросите, где он? Здесь, среди свидетелей. Это было сделано по распоряжению проагора Сопатра. Кто это такой? Тот самый, которого привязали к статуе. А он где? Вы его видели и слышали его приказания. Снятием статуи с цоколя распоряжался гимнасиарх<sup>88</sup> Деметрий, ведавший местом, где она стояла. Что же? Я ли это говорю? Да нет же — он сам, присутствующий здесь. По его словам, сам Веррес, будучи уже в Риме, недавно обещал вернуть статую представителям городской общины, если будут уничтожены доказательства его виновности по этому делу и если представители ему поручатся, что не выступят как свидетели. Это сказали в вашем присутствии Зосипп и Исмений, знатнейшие люди и первые среди граждан Тиндарида.

(XLIII, 93) Далее, не похитил ли ты в Агригенте, из священнейшего храма Эскулапа<sup>89</sup>, памятный дар того же Публия Сципиона — прекрасную статую Аполлона, на бедре которой мелкими серебряными буквами было написано имя Мирона? Когда он сделал это тайком, использовав для своего злодеяния, для кощунственной кражи, в качестве наводчиков и пособников нескольких бесчестных людей, городская община была сильно возмущена. Ибо жители Агригента одновременно лишились дара Сципиона Африканского, отечественной святыни, украшения города, памятника победы и доказательства их союза с нами. Поэтому, по почину первых граждан того города, квесторам и эдилам<sup>90</sup> было поручено охранять храмы в ночное время. Ведь, в Агригенте — мне думается, потому, что его население многочисленно и состоит из честных людей, а также потому, что римские граждане, стойкие и уважаемые люди, многочисленные в этом городе, живут с коренными жителями душа в душу, занимаясь торговлей, — Веррес не решался открыто требовать, а тем более уносить то, что ему нравилось.

(94) В Агригенте, невдалеке от форума, есть храм Геркулеса, священный в глазах населения и глубоко почитаемый. В нем есть бронзовая статуя самого Геркулеса, едва ли не самое прекрасное из всех произведений искусства, когда-либо виденных мной (правда, я не так уж много понимаю в таких вещах, но много видел их); его так глубоко почитают, судьи, что его губы и подбородок несколько стерлись, потому что люди, при просительных и благодарственных молитвах, не только обращаются к нему, но и целуют его. К этому храму, во время пребывания Верреса в Агригенте, в глухую ночь внезапно, под

предводительством Тимархиды, сбежалась толпа вооруженных рабов и хотела ворваться в храм. Ночная стража и хранители храма подняли крик; вначале они попытались оказать сопротивление и защитить храм, но их отогнали, избив палицами и дубинами; затем, сбив запоры и выломав двери, нападавшие попытались снять статую с цоколя и увезти ее на катках. Тем временем все услыхали крики, и по всему городу разнеслась весть о том, что на статуи богов их отчизны нападают, но что это не неожиданный вражеский налет и не внезапный разбойничий набег, нет, из дома и из когорт претора<sup>91</sup> явилась хорошо снаряженная и вооруженная шайка беглых рабов. (95) В Агригенде не было человека, который бы, узнав о случившемся, не вскочил с постели и не схватил первого попавшегося ему под руку оружия, как бы слаб и стар он ни был. В скором времени к храму сбежался весь город. Уже больше часа множество людей выбивалось из сил, стараясь сдвинуть статую с места; но она никак не поддавалась, хотя одни пытались подвинуть ее, подложив под нее катки, другие тащили ее к себе канатами, привязав их ко всем ее членам. Но вот внезапно сбежались жители Агриента; градом посыпались камни; в бегство обратилисьочные вояки прославленного императора. Две крошечные статуэтки они все-таки прихватили, чтобы не возвращаться к этому похитителю святынь с совсем пустыми руками. Нет такого горя, которое бы лишило сицилийцев их способности острить и шутить; так и в этом случае они говорили, что к числу подвигов Геркулеса теперь надо относить с одинаковым основанием победу и над этим чудовищным боровом и над вепрем Эриманфским.

(XLIV, 96) Примеру доблестных жителей Агриента в дальнейшем последовали жители Ассора, храбрые и верные мужи, хотя их город далеко не так известен и знаменит. В пределах Ассорской области протекает река Хрис. Жители считают ее божеством и почитают с величайшим благоговением. Храм Хриса находится за городом у самой дороги из Ассора в Энну; в нем стоит превосходная мраморная статуя этого божества. Вследствие исключительной святости этого храма, Веррес не осмелился потребовать от жителей Ассора эту статую. Он дал поручение Тлеполему и Гиерону. Они явились ночью с вооруженными людьми и взломали двери храма. Но храмовые служители и сторожа вовремя заметили их и затрубили в рог, что было сигналом, известным во всей округе; из всей окрестности сбежался народ. Тлеполема вышвырнули и он обратился в бегство; в храме Хриса не досчитались только одной бронзовой статуэтки.

(97) В Энгии есть храм Великой Матери<sup>92</sup>. Теперь мне приходится не только говорить о каждом случае очень кратко, но даже пропускать очень многое, чтобы перейти к более важным и получившим большую известность преступлениям Верреса в том же духе. В этом храме находятся бронзовые панцири и шлемы коринфской чеканной работы и такой же работы большие гидрии, сделанные с тем же совершенным мастерством; их принес в дар все тот же знаменитый Сципион, выдающийся во всех отношениях муж, велев вырезать на них свое имя. Но к чему мне так много говорить о Веррессе и заявлять

жалобы? Все это он похитил, судьи, и не оставил в глубоко почитаемом храме ничего, кроме следов своего святотатства и имени Публия Сципиона. Отбитым доспехам врагов, памятникам императоров, украшениям и убранству храмов отныне суждено, расставшись с этими славными именами, стать частью домашней обстановки и утвари Гая Верреса.

(98) Очевидно, ты один получаешь наслаждение от вида коринфских ваз, ты со всей тонкостью разбираешься в составе этой бронзы, ты можешь оценить их линии. Так значит, знаменитый Сципион, хотя и был ученейшим и просвещеннейшим человеком, этого не понимал, а ты, человек без всякого образования, без вкуса, без дарования, без знаний, понимаешь это и умеешь оценить! Смотри, как бы не оказалось, что он не только своей умеренностью, но и пониманием превосходил тебя и тех, которые хотят, чтобы их называли знатоками. Ибо Сципион, понимая, насколько эти вещи красивы, считал их созданными не как предметы роскоши для жилищ людей, а для украшения храмов и городов, чтобы наши потомки считали их священными памятниками.

(XLV, 99) Послушайте, судьи, и об исключительной жадности, дерзости и безумии Верреса, проявившихся к тому же в осквернении такой святыни, которая считалась неприкосновенной не только для рук, но и для помышлений человеческих. Есть в Катине святилище Цереры, почитаемой там так же благоговейно, как в Риме, как в других местностях, как, можно сказать, во всем мире<sup>93</sup>. Во внутренней части этого святилища находилась очень древняя статуя Цереры, причем мужчины не знали, не говорю уже — о ее внешнем виде, но даже о ее существовании; ибо доступ в это святилище запрещен мужчинам; обряды совершаются женщинами и девушками. Статую эту рабы Верреса унесли тайком, ночью, из того священнейшего и древнейшего места. На другой день жрицы Цереры и настоятельницы этого храма, знатные женщины преклонного возраста и чистой жизни, донесли своим властям о случившемся. Все были поражены, возмущены и удрученены. (100) Тогда Веррес, будучи встревожен тяжестью своего проступка и желая отвести от себя подозрение в этом злодействе, поручил одному из своих гостеприимцев подыскать кого-нибудь, чтобы свалить на него эту вину и добиться его осуждения по этому обвинению, дабы самому избежать ответственности. Откладывать дело не стали. Когда Веррес уехал из Катины, на одного раба была подана жалоба; он был обвинен; были выставлены лжесвидетели; дело, на основании законов, разбирал катинский сенат, собравшийся в полном составе. Были вызваны жрицы; их тайно спросили в курии, каково их мнение о случившемся и каким образом статую можно было похитить. Они ответили, что в храме видели рабов претора. Дело, которое и раньше не было темным, стало, благодаря показаниям жриц, вполне ясным. Суд начал совещаться. Раба единогласно признали невиновным, чтобы вы тем легче могли единогласно вынести Верресу обвинительный приговор.

(101) В самом деле, чего ты требуешь, Веррес, на что надеешься, чего ждешь? Кто из богов или людей, по-твоему, придет тебе на помощь? Не туда ли

осмелился ты, для ограбления святилища, послать рабов, куда и свободным людям божественный закон не разрешал входить даже с дарами? Не на те ли предметы ты наложил без всяких колебаний свою руку, от которых священные заветы велели тебе даже отводить взор? При этом ведь не твои глаза соблазнили тебя совершить такой злодейский, такой нечестивый поступок; ибо ты пожелал того, чего никогда не видел; повторяю, ты страстно захотел иметь то, на что тебе ранее и взглянуть не пришлось. На основании слухов ты воспыпал такой безмерной жадностью, что ее не сдержали ни страх, ни запрет, ни гнев богов, ни мнение людей. (102) Но ты, быть может, слышал об этой статуе от честного и заслуживающего доверия человека. Как же это было возможно, когда от мужчины ты вообще не мог о ней слышать? Следовательно, ты слышал о ней от женщины, так как мужчины не могли ни видеть ее, ни знать о ней. Но какова, по вашему мнению, судьи, была та женщина. Сколь целомудренна была она, раз она беседовала с Верресом; сколь благочестива, раз она его научила, как ограбить святилище! Ясно, что таинства, совершаемые девушками и женщинами необычайной непорочности, осквернены гнусным кощунством Верреса.

(XLVI) И вы полагаете, что это единственный случай, когда он вздумал добыть себе то, о чем он только слыхал, но чего сам не видел? Нет, было много и других таких случаев; из них я остановлюсь на ограблении известнейшего и древнейшего святилища, о котором свидетели говорили при первом разборе дела. Выслушайте теперь, пожалуйста, мой рассказ об этом же и притом с таким же вниманием, как и до сих пор.

(103) Остров Мелита, судьи, отделен от Сицилии довольно широким и опасным морем; на острове есть город того же имени, где Веррес никогда не был, что, однако, не помешало ему превратить этот город на три года в мастерскую тканей<sup>94</sup> для женщин. Невдалеке от этого города стоит на мысе древний храм Юноны, всегда почтавшийся так глубоко, что не только во времена пунических войн, происходивших вблизи от этих мест и сопровождавшихся большими морскими боями, но и ныне, при присутствии здесь множества морских разбойников, он всегда был неприкосновенным и священным. Более того, по рассказам, когда к этому месту однажды пристал флот царя Масиниссы, военачальник царя взял из храма слоновые бивни огромной величины, привез их в Африку и принес в дар Масиниссе. Царь вначале обрадовался подарку, но затем, узнав, откуда эти бивни, немедленно отправил на квинквереме<sup>95</sup> верных людей, чтобы они возвратили эти бивни по принадлежности. По этому случаю на них была сделана надпись пуническими буквами, гласившая, что царь Масинисса, по неведению, принял эти предметы, но, узнав об обстоятельствах дела, велел доставить их обратно и возвратить храму. Кроме того, в храме было много слоновой кости, много украшений и среди них две сделанные из слоновой кости статуэтки Победы, прекрасные произведения искусства, древней работы. (104) Чтобы не говорить много, скажу, что Веррес, дав один приказ, при посредстве посланных им для этого рабов Венеры, забрал и увез все эти предметы.

(XLVII) О, бессмертные боги! Кого обвиняю, кого преследую я на основании законов и права? О ком вынесете вы свой приговор, подавая таблички? Представители Мелиты официально заявляют, что храм Юноны ограблен, что Веррес в этом неприкосновеннейшем святилище не оставил ничего, что в том месте, где часто приставали флоты врагов, где чуть ли не из года в год зимовали пираты, храм, которого ранее не осквернял ни один разбойник и никогда не касался враг, ограблен Верресом и в нем ничего не оставлено. Что же, и теперь придется называть его обвиняемым, меня — обвинителем, а вас — судьями? Против него имеются некоторые статьи обвинения; он привлечен к суду на основании подозрений. А между тем установлено, что похищены статуи богов, ограблены храмы, опустошены города; после таких злодеяний Веррес не оставил себе никакого пути для отрицания своей вины, никакой возможности оправдаться. Он во всем изобличен мной, уличен свидетелями, уничтожен собственным признанием; он в сетях своих явных злодеяний — и все же он остается здесь и молча, вместе со мной, следит за раскрытием своих собственных поступков.

(105) Я пожалуй, слишком долго занимаюсь обвинениями одного рода; я сознаю, судьи, что мне не следует утомлять ваш слух и ваше внимание. Поэтому я многое обойду молчанием. Но — во имя бессмертных богов, тех самых, о почитании которых мы говорим уже долго! — чтобы выслушать то, что я собираюсь сказать, прошу вас, судьи, набраться новых сил, дабы их вам хватило, пока я буду подробно рассказывать вам о преступлении Верреса, которое потрясло всю провинцию. Если вам покажется, что я слишком углубляюсь в прошлое, чтобы проследить, откуда идет это почитание, то простите это мне: важность дела не позволяет мне быть кратким в повествовании об этом страшном преступлении.

(XLVIII, 106) Согласно стариинному верованию, судьи, о котором свидетельствуют древнейшие греческие писания и памятники, остров Сицилия весь был посвящен Церере и Либере<sup>96</sup>. Если так полагают и другие народы, то сами сицилийцы в этом вполне убеждены, и это верование, можно сказать, вошло в их плоть и кровь. Они верят, что здесь родились эти богини, что хлебопашество впервые возникло на их земле, что Либера, которую они называют также Просерпиной, была похищена в роще близ Энны; это место, расположенное в средней части острова, называется "пупом Сицилии". Желая напасть на след Либера и найти ее, Церера, говорят, зажгла свои факелы от огней, вырывающихся из вершины Этны, и, неся их перед собой, обошла весь мир. (107) Энна, где, по преданию, происходило то, о чем я говорю, расположена на очень высоком, господствующем над окрестностью плоскогорье с неиссякающими источниками; со всех сторон подъем крут и обрывист. Вблизи Энны очень много озер и рощ, где круглый год цветут прекрасные цветы, так что само место свидетельствует о том, что именно здесь и произошло похищение девушки, о которой мы слышали еще в детстве. И в самом деле, поблизости находится неизмеримой глубины пещера, обращенная на север; из нее, говорят,

неожиданно появился на своей колеснице отец Дит, который схватил девушку и увез с собой; невдалеке от Сиракуз он внезапно исчез под землей, а на этом месте тотчас же образовалось озеро; на его берегу сиракузяне и понынеправляют ежегодные празднества при огромном стечении мужчин и женщин.

(XLIX) В связи с древним верованием, что в этой местности есть следы пребывания этих божеств и что здесь, можно сказать, стояла их колыбель, во всей Сицилии как частными лицами, так и городскими общинами воздаются особенные почести Церере Эннской. Многочисленные чудеса свидетельствуют о ее божественной силе; много раз оказывала она людям в трудную минуту их жизни верную помощь, так что богиня, казалось, не только любит этот остров, но и обитает на нем и охраняет его. (108) И не только сицилийцы, но и другие племена и народы глубоко чтут эннскую Цереру. Действительно, если принимать участие в священнодействиях афинян стремятся все люди, хотя Церера только посетила Афины, во время своих скитаний и принесла туда плоды земледелия<sup>97</sup>, то как глубоко должны чтить богиню те, в чьей стране она, как известно, родилась и научила людей земледелию впервые! Поэтому во времена наших отцов, тяжкие и трудные для государства, когда был убит Тиберий Гракх, все с ужасом ожидали великих бедствий, предвещаемых зловещими знамениями, в консульство Публия Муция и Луция Кальпурния<sup>98</sup> обратились к Сивиллиным книгам<sup>99</sup>, в которых было найдено повеление умилостивить древнейшую Цереру. И хотя в нашем городе находился прекрасный и великолепный храм Цереры<sup>100</sup>, все же жрецы римского народа из знаменитой коллегии децемвиров выехали в самую Энну. Ибо там с древнейших времен почитали Цереру столь глубоко, что люди, выезжая туда, казалось, отправлялись не в храм Цереры, а к самой Церере.

(109) Не стану злоупотреблять вашим вниманием; моя речь, пожалуй, уже давно не подходит для суда и не похожа на речи, какие принято произносить. Скажу прямо: эта самая Церера, древнейшая и священнейшая родоначальница всех тайнств, совершаемых у всех племен и народов, из храма, где она стояла, Гаем Верресом была похищена. Если вы бывали в Энне, вы видели мраморную статую Цереры, а в другом храме — статую Либеры. Они огромной величины и очень красивы, но не очень древние. Была другая статуя, из бронзы, не особенно больших размеров, но прекрасной работы, с факелами, очень древняя, наиболее древняя из всех статуй, находящихся в том храме. Ее он и похитил и все же этим не был доволен. (110) Перед храмом Цереры, на открытой и обширной площадке, стоят две статуи, — Цереры и Триптолема<sup>101</sup> — очень красивые и огромных размеров; их красота была опасна для них, но их размеры — спасительны, так как снять их с цоколей и перевезти оказалось непосильной задачей. В правой руке у Цереры была большая, прекрасной работы, статуя Победы<sup>102</sup>; Веррес приказал снять ее со статуи Цереры и доставить ему.

(L) Что же должен теперь испытывать Веррес, вспоминая свои злодеяния, когда я сам, упоминая о них, не только скорблю душой, но и содрогаюсь всем телом? Я живо представляю себе и храм, и местность, и священные обряды;

перед моими глазами встает все: тот день, когда, после моего приезда в Энну, жрицы Цереры вышли мне навстречу с ветвями, обвитыми повязками<sup>103</sup>; народ, собравшийся на сходку, конвент римских граждан; там, во время моей речи, было столько стонов и слез, что казалось, будто весь город рыдает в тяжкой скорби. (111) Не требования насчет десятин, не расхищение их имущества, не беззакония в судах, не возмутительный разврат Верреса, не насилия и оскорблений, какими он терзал и угнетал их, заставили их принести мне жалобы; нет, за поругание Цереры, ее древних обрядов, ее священного храма требовали они искупительной кары для этого преступнейшего и наглайшего человека; все прочее, они говорили, согласны они претерпеть и предать забвению. Их скорбь была так велика, словно в Энну явился новый Орк и не Просерпину увез, а похитил самое Цереру.

И в самом деле тот город кажется не городом, а храмом Цереры; жители Энны считают, что Церера обитает среди них, так что они кажутся мне не гражданами своей общины, а все — жрецами, все — обитателями и хранителями храма Цереры. (112) И из Энны ты осмелился увезти статую Цереры? В Энне ты попытался вырвать Победу из руки Цереры и отнять богиню у богини? Их не осмелились ни осквернить, ни коснуться те, которые, по всем своим качествам, были склонны скорее к злодейству, чем к благочестию. Ведь в консульство Публия Попилия и Публия Рутилия<sup>104</sup> эта местность была в руках у рабов, беглых, варваров, врагов; но они не в такой мере были рабами своих господ, в какой ты — рабом своих страстей; они не так стремились бежать от своих господ, как ты — от права и законов; они не были такими варварами по языку и происхождению, как ты — по натуре и нравам, не были столь враждебны людям, как ты — бессмертным богам. Какое же снисхождение можно оказать ему, превзошедшему рабов низостью, беглых дерзостью, варваров преступностью, врагов жестокостью?

(LI, 113) Вы слышали официальное заявление Феодора, Нумения и Никасиона, представителей Энны, о поручении, данном им их согражданами: обратиться к Верресу с требованием возвратить городу статуи Цереры и Победы; в случае его согласия, остаться верными древнему обычью населения Энны и, хотя Веррес и был мучителем Сицилии, все-таки, следуя заветам предков, не выступать со свидетельскими показаниями против него; если же он не возвратит статуй, то явиться в суд, рассказать судьям о его беззакониях, но главным образом, заявить жалобу на оскорбление религии. Во имя бессмертных богов! — не будьте глухи к их жалобам, не относитесь к ним с презрением и пренебрежением, судьи! Дело идет о беззакониях, совершенных по отношению к союзникам, дело идет о значении законов, об уважении к суду и о правосудии. Все это очень важно, но вот что самое важное: вся провинция охвачена таким сильным страхом перед богами, из-за деяний Верреса всеми сицилийцами овладел такой суеверный ужас, что всякое несчастье, какое бы ни случилось, — с городской ли общиной или же с частным лицом — связывают со злодейством Верреса. (114) Вы слышали официальные заявления жителей Центурип, Агирия, Катины, Этны,

Гербиты и многих других городов о том, в какую пустыню превращены их поля, как они разорены, как много земледельцев бежало, оставив свои поля незасеянными, покинув их на произвол судьбы. И хотя это случилось вследствие многочисленных и разнообразных беззаконий Верреса, но сицилийцы придают наибольшее значение одному обстоятельству: гибель всех посевов и даров Цереры в этих местностях объясняют оскорблением, нанесенным Церере.

Поддержите страх союзников перед богами, судьи, сохраните свой собственный. Ведь эти верования вовсе не безразличны для вас и вам не чужды, и даже если бы это было так, если бы вы не хотели перенять их, вам все же следовало бы покарать того, кто оскорбил эти верования. (115) Но теперь речь идет о религии, общей всем народам, и о священнодействиях, которые наши предки восприняли и совершили, заимствовав их от чужеземных народов, о священнодействиях, названных ими греческими, какими они и были в действительности. Как же можем мы, даже если бы и пожелали, быть равнодушными и беспечными?

(LII) Теперь я напомню и подробно опишу вам, судьи, разграбление одного только города, но прекраснейшего и богатейшего из всех городов — Сиракуз, чтобы, наконец, закончить эту часть своей речи. Среди вас, пожалуй, нет никого, кто бы не слышал и не читал в летописях рассказа о том, как Сиракузы были взяты Марком Марцеллом. Сравните же нынешнее состояние мира с тогданией войной; приезд этого претора сравните с победой того императора, запятнанную когортой Верреса — с непобедимым войском Марцелла, произвол одного — сдержанностью другого. Вы скажете, что тот, кто завоевал Сиракузы, был их основателем, а тот, кто получил их благоустроеными, вел себя, как завоеватель. (116) Обхожу теперь молчанием то, о чем я уже говорил и еще буду говорить во многих местах своей речи: форум в Сиракузах, не запятнанный убийствами при вступлении Марцелла в город, был залит кровью невинных сицилийцев при приезде Верреса; сиракузская гавань, остававшаяся недоступной и для нашего и для карфагенского флотов, во время претуры Верреса была открыта для миопарона килийцев<sup>105</sup> и для морских разбойников. Не стану говорить о его насильственных действиях по отношению к свободнорожденным, о его надругательствах над матерями семейств — обо всем том, чего тогда в завоеванном городе не позволили себе ни разъяренные враги, ни буйные солдаты, ни по обычаю войны, ни по праву победы; повторяю, я обхожу молчанием все это, совершившееся Верресом в течение трех лет его претуры. Расскажу вам о том, что тесно связано с событиями, о которых я уже говорил.

(117) Вы не раз слышали, что Сиракузы — самый большой из греческих городов и самый красивый<sup>106</sup>; это действительно так, судьи! Ибо он очень выгодно расположен, и как с суши, так и с моря вид его великолепен; его гавани находятся внутри городской черты, к ним то тут, то там прилегают городские здания; имея самостоятельные входы, эти гавани соединяются и сливаются; там, где они соединяются друг с другом, узкий морской пролив отделяет одну часть

города, называемую Островом; эта часть сообщается с остальными частями города посредством моста.

(LIII, 118) Город этот так велик, что может показаться, будто он состоит из четырех огромных городов. Один из них, тот, о котором я уже говорил, — Остров, омываемый двумя гаванями, выдается далеко в море, соприкасается с входами в обе гавани и доступен с обеих сторон. Здесь стоит дворец, принадлежавший царю Гиерону и теперь находящийся в распоряжении преторов. Здесь же очень много храмов, но два из них намного превосходят все остальные: один — Дианы, другой, до приезда Верреса поражавший своим богатством, — Минервы. На самом краю Острова течет ручей с пресной водой, называемый АРЕТУСОЙ, очень широкий, кишащий рыбой; если бы он не был отделен от моря каменной плотиной, то морские волны вливались бы в него. (119) Второй город в Сиракузах называется Ахрадиной; здесь есть обширный форум, красивейшие портики, великолепный пританей<sup>107</sup>, величественная курия и замечательный храм Юпитера Олимпийского, выдающееся произведение искусства; остальные части этого города, пересекаемые одной широкой продольной улицей и многими поперечными, застроены частными домами. Третий город называется Тихэ, так как в этой части города был древний храм Фортуны; в нем есть огромный гимнасий, множество храмов; эта часть города сильно застроена и густо населена. Четвертый город называется Неаполем<sup>108</sup>, так как был построен последним; в самой возвышенной части его находится огромный театр и, кроме того, два прекрасных храма: Цереры и Либеры, а также и очень красивая статуя Аполлона Теменита<sup>109</sup>, которую Веррес похитил бы без всяких колебаний, если бы смог ее перевезти.

(LIV, 120) Возвращусь теперь к действиям Марцелла, дабы не казалось, что я без оснований упомянул обо всем этом. Взяв приступом столь великолепный город, он решил, что если вся эта красота будет разрушена и уничтожена, то это римскому народу чести и славы не принесет, тем более, что красота эта ничем не угрожала. Поэтому он пощадил все здания как общественные, так и частные, храмы и жилые дома, словно пришел с войском для их защиты, а не для завоевания. А украшения города? Тут он руководствовался и правами победителя и требованиями человечности; по его мнению, по праву победителя ему следовало отправить в Рим многие предметы, которые могли украсить Рим; но как человек он не хотел подвергать полному разграблению город, тем более такой, который он сам пожелал сохранить. (121) При распределении украшений города победа Марцелла дала римскому народу столько же, сколько его человечность сохранила для жителей Сиракуз. То, что привезено в Рим, мы можем видеть в храме Чести и Доблести и кое-где в других местах. Ни у себя в доме, ни в садах своих, ни в загородной усадьбе он не поставил ничего. Он полагал, если он не привезет в свой дом украшений, принадлежащих городу, то сам его дом будет служить украшением городу Риму. В Сиракузах, напротив, он оставил очень много и притом редкостных памятников искусства; из богов же он не оскорбил ни одного и не прикоснулся ни к одному священному изображению.

Сравните Верреса с Марцеллом — не для того, чтобы сопоставить их, как человека с человеком (этим великому мужу было бы посмертно нанесено оскорбление), но чтобы сравнить мир с войной, законы с насилием, правосудие на форуме с господством оружия, приезд наместника и его свиты с вступлением победоносного войска.

(LV, 122) На Острове есть храм Минервы, о котором я уже говорил. Марцелл его не тронул, его богатства и украшения оставил в целости; Веррес же так обобрал и разграбил его, как его мог опустошить не враг, который даже во время войны уважает святыню и обычай, а морские разбойники-варвары. В храме были по стенам развешаны картины, изображавшие бой конницы царя Агафокла<sup>110</sup>. Картины эти считались верхом совершенства и главной достопримечательностью Сиракуз. Марк Марцелл, хотя его победа и сняла религиозный запрет со всех этих предметов<sup>111</sup>, все-таки, из благочестия, не тронул этих картин. Веррес же, получив их священными и неприкосновенными в связи с длительным миром и верностью жителей Сиракуз, все те картины забрал себе, а стены, украшения которых сохранялись в течение стольких веков и избежали опасности во время стольких войн, оставил голыми и обезображенными. (123) Марцелл, давший обет — в случае, если он возьмет Сиракузы, построить в Риме два храма, не пожелал украсить будущие храмы захваченными им предметами. Веррес, давший обеты не Чести и Доблести, как это сделал Марцелл, а Венере и Купидону, попытался ограбить храм Минервы. Марцелл не хотел одаривать богов добычей, взятой у богов; Веррес перенес украшения девственницы Минервы в дом распутницы<sup>112</sup>. Кроме того, он унес из храма двадцать семь превосходных картин, изображавших сицилийских царей и тираннов и не только радовавших глаз мастерством живописцев, но и будивших воспоминания о людях, чьи черты они передавали. Решайте сами, насколько этот тиранн был для жителей Сиракуз отвратительнее любого из прежних: те все же украсили храмы бессмертных богов, этот похитил даже памятники и украшения, поставленные ими.

(LVI, 124) Далее, упоминать ли мне о дверях этого храма? Пожалуй, те, кто их не видел, подумают, что я все преувеличиваю и приукрашаю. Но пусть никто не подозревает меня в таком пристрастии и не думает, что я пошел бы даже на то, чтобы столько уважаемых людей (тем более из числа судей), которые бывали в Сиракузах и видели то, о чем я говорю, уличили меня в безрассудстве и лжи. Могу с уверенностью утверждать, судьи, что ни в одном храме не было более великолепных, более искусно сделанных из золота и слоновой кости дверных створ. Трудно поверить, сколько греков оставило описание их красоты. Они, быть может, склонны чересчур восхищаться такими предметами и их превозносить; допустим; так вот, судьи, для нашего государства больше чести от того, что наш император во время войны оставил нетронутыми те предметы, которые грекам кажутся красивыми, чем от того, что претор в мирное время похитил их. Дверные створы были украшены тончайшими изображениями из слоновой кости. Веррес постарался, чтобы все они были сорваны; великолепную

голову змееволосой Горгоны он тоже сорвал и взял себе; при этом он, однако, доказал, что его привлекает вовсе не только мастерство, но и стоимость вещи и желание поживиться; ибо он без всяких колебаний забрал себе все многочисленные и тяжелые золотые шары, укрепленные на этих дверях и понравившиеся ему не работой, а своим весом. Таким образом, двери, некогда созданные, главным образом, для украшения храма, он оставил в таком виде, что они отныне годятся только на то, чтобы его запирать. (125) Даже бамбуковые копья — помню ваше изумление, когда о них говорил один из свидетелей, так как в них не было ничего особенного и достаточно было взглянуть на них один раз, — не замечательные ни своей работой, ни своей красотой, а только своей необычайной длиной, о которой, однако, достаточно услыхать (а видеть их более одного раза вовсе не нужно), — и на них ты польстился.

(LVII, 126) Другое дело — Сапфо; похищение ее статуи из пританея вполне оправдано и его, пожалуй, следует признать допустимым и простительным. Неужели возможно, чтобы столь совершенным, столь изящным, столь тщательно отделанным произведением Силаниона<sup>113</sup> владел кто-нибудь другой, не говорю уже — частное лицо, но даже народ, а не такой утонченный знаток и высоко образованный человек — Веррес? Возразить, конечно, нечего. Ведь если любой из нас — мы ведь не так богаты, как он, и не можем быть такими изощренными — захочет взглянуть на какое-нибудь из таких произведений искусства, то ему придется пройтись до храма Счастья, к памятнику Катула<sup>114</sup>, в портик Метелла<sup>115</sup>, добиваться доступа в тускульскую усадьбу одного из этих знатоков, любоваться украшенным форумом, если только Веррес соблаговолит предоставить эдилам ту или иную из своих драгоценностей. Но Веррес, конечно, пусть держит все эти предметы у себя; Веррес пусть заполняет свой дом украшениями городов и храмов, забивает ими свои усадьбы. И вы, судьи, будете переносить увлечения и любимые утехи этого грузчика, которому, по его рождению и воспитанию, по свойствам души и тела, по-видимому, следовало бы скорее перетаскивать статуи, чем таскать их к себе? (127) Трудно выразить словами ту скорбь, какую вызвало похищение этой статуи Сапфо. Ибо, помимо того, что это было само по себе редкостное произведение искусства, на ее цоколе была вырезана знаменитая греческая эпиграмма<sup>116</sup>, которую этот образованный человек и поклонник греков, умеющий так тонко обо всем судить, он, этот единственный ценитель искусства, наверное, тоже утащил бы к себе, если бы знал хотя бы одну греческую букву; теперь надпись на пустом цоколе говорит, что на нем стояло, и обличает похитителя.

Далее, разве ты не похитил из храма Эскулапа статую Пэана<sup>117</sup>, прекрасной работы, священную и неприкосновенную? Красотой ее все любовались, святость ее чтили. (128) А разве не по твоему приказанию из храма Либера у всех на глазах было унесено изображение Аристея?<sup>118</sup> А из храма Юпитера разве ты не забрал священнейшей статуи Юпитера-Императора, которого греки называют Урием<sup>119</sup>, статуи прекрасной работы? Далее, разве ты поколебался взять из храма Либера знаменитую голову Пэана, чудесной работы, из паросского мрамора,

которой мы так часто любовались? А между тем в честь этого Пэана, вместе с Эскулапом, сиракузяне ежегодно устраивали празднества. Что касается Аристея, которого греки считают сыном Либера и который, как говорят, впервые добыл оливковое масло, то ему в Сиракузах поклонялись в одном и том же храме вместе с отцом Либером.

(LVIII, 129) А знаете ли вы, каким почетом пользовался Юпитер-Император в своем храме? Вы можете себе представить это, если вспомните, как глубоко почитали сходное с ним и столь же прекрасное изображение Юпитера, которое Тит Фламинин захватил в Македонии и поставил в Капитолии. Вообще во всем мире, говорят, было три одинаковых и великолепнейших статуи Юпитера-Императора: первая — македонская, которую мы видели в Капитолии<sup>120</sup>; вторая, что стоит у узкого пролива, ведущего в Понт; третья — та, которая, до претуры Верреса, находилась в Сиракузах. Первую Фламинин увез из храма Юпитера, но с тем, чтобы поставить ее в Капитолии, то есть в земном жилище Юпитера. (130) Статуя, находившаяся у входа в Понт, и по сей день цела и невредима, несмотря на то, что немало войн начиналось в пределах этого моря, а впоследствии распространялось на Понт. Третью же статую, находившуюся в Сиракузах, которую Марк Марцелл, победитель с оружием в руках, видел, но не тронул из уважения к религиозному чувству населения и которую чтили граждане и поселенцы, а приезжие посещали не только с целью осмотра, но и для поклонения ей, — ее Гай Веррес из храма Юпитера похитил. (131) Возвращаясь еще раз к Марцеллу, выскажу вам свое мнение: жители Сиракуз потеряли больше богов после приезда Верреса, чем своих граждан после победы Марцелла. И в самом деле, Марцелл, говорят, даже разыскивал знаменитого Архимеда, человека величайшего ума и учености, и был глубоко опечален вестью о его гибели<sup>121</sup>; а все, что разыскивал Веррес, не сохранялось, а похищалось.

(LIX) Оставляю в стороне то, что покажется менее значительным, — похищение мраморных дельфийских столов, прекрасных бронзовых кратеров<sup>122</sup>, множества коринфских ваз, совершенное Верресом во всех храмах Сиракуз. (132) Поэтому, судьи, все те, кто сопровождает приезжих и показывает им каждую достопримечательность Сиракуз (так называемые мистагоги), уже изменили способ показа: раньше они показывали, где что есть, теперь же сообщают, откуда что похищено.

Так что же? Уже не думаете ли вы, что горе, причиненное сицилийцам, не особенно велико? Это не так, судьи! Во-первых, все люди дорожат своей религией и считают своим долгом свято почитать богов отчизны и беречь их изображения, завещанные им их предками; затем, эти украшения, эти произведения искусных мастеров, статуи и картины нескованно милы сердцу греков. Из их жалоб мы можем понять, сколь тяжела для них эта утрата, которая нам, быть может, кажется незначительной и не заслуживающей внимания. Поверьте мне, судьи, — хотя вы и сами, наверное, слышали об этом — из всех

несчастий и обид, испытанных в течение последнего времени союзниками и чужеземными народами, ничто не причинило и не причиняет грекам такой скорби, как подобные ограбления храмов и городов.

(133) Сколько бы Веррес, по своему обыкновению, ни говорил, что он эти предметы купил, поверьте мне, судьи: ни во всей Азии, ни в Греции нет ни одной городской общины, которая бы когда-либо продала кому-нибудь хотя бы одну статую, картину, словом, какое-либо украшение их города. Или вы, быть может, думаете, что греки, после того как в Риме перестали выносить строгие судебные приговоры, начали вдруг продавать те вещи, которые они в то время, когда приговоры выносились суровые, не только не продавали, но даже скапали? Уже не думаете ли вы, что, в то время как Луцию Крассу, Квинту Сцеволе<sup>123</sup>, Гаю Клавдию, могущественнейшим людям, как мы видели, пышно отпраздновавшим свой эдилитет, греки этих предметов не продавали, они стали продавать их тем лицам, которые были избраны в эдилы после того, как суды стали снисходительнее?

(LX, 134) Знайте — эта ложная и мнимая покупка даже более огорчительна для городских общин, чем тайный захват или же открытое похищение и увоз. Ибо они считают величайшим позором для себя запись в городских книгах, удостоверяющую, что граждане, за плату и притом небольшую, согласились продать и уступить предметы, полученные ими от предков. Действительно, можно только удивляться, как сильно греки дорожат этими предметами, которыми мы пренебрегаем. Вот почему наши предки охотно допускали, чтобы у греков было возможно больше таких предметов: у союзников — для того, чтобы они возможно больше преуспевали и благоденствовали под нашим владычеством; у тех же, кого они облагали податями и данью, они все-таки оставляли эти предметы, дабы люди, которых радует то, что нам кажется несущественным, получали от этого удовольствие и утешались в своем рабстве. (135) Как вы думаете? Сколько жители Регия, ныне римские граждане, хотели бы получить за то, чтобы от них увезли знаменитую мраморную статую Венеры? Сколько жители Тарента взяли бы за Европу на быке, за Сатира, находящегося в храме Весты в их городе, и за другие статуи? Жители Феспий — за статую Купидона, жители Книда — за мраморную Венеру, жители Коса — за писанную красками, жители Эфеса — за Александра, жители Кизика — за Аянта или за Медею, жители Родоса — за Иалиса<sup>124</sup>, афиняне — за мраморного Иакха<sup>125</sup>, или за писанного Парала<sup>126</sup>, или за бронзовую коровку Мирона? Много времени заняло бы, да и нет необходимости перечислять одну за другой достопримечательности во всей Азии и Греции; я говорю об этом только потому, что хочу, чтобы вы поняли, как глубоко бывают удручены те, из чьих городов увозят такие произведения.

(LXI, 136) Но оставим в стороне других; послушайте о самих жителях Сиракуз. По приезде своем в Сиракузы, я вначале, в соответствии с тем, что узнал в Риме от друзей Верреса, думал, что в связи с делом о наследстве

Гераклия<sup>127</sup> сиракузская община расположена к Верресу не менее, чем мамертинская, его соучастница в грабежах и хищениях. В то же время я боялся — в случае, если я найду что-нибудь в книгах жителей Сиракуз, — нападок вследствие влияния знатных и красивых женщин, руководивших Верресом в течение трех лет его претуры, и вследствие чрезмерной, не говорю уже — сговорчивости, но даже щедрости к нему, проявленной их мужьями<sup>128</sup>. (137) Поэтому в Сиракузах я встречался с римскими гражданами, знакомился с их книгами, расследовал нанесенные им обиды. Устав от этой продолжительной и кропотливой работы, я, для отдыха и развлечения, обратился к знаменитым книгам Карпинация<sup>129</sup>, где я вместе с римскими всадниками, самыми уважаемыми членами конвента, разоблачил его "Верруциев", о которых я уже говорил<sup>130</sup>, от сиракузян я совсем не ожидал помочь — ни официально, ни частным образом, да и не собирался требовать ее.

Когда я был занят этим, ко мне вдруг являлся Гераклий, бывший тогда в Сиракузах должностным лицом<sup>131</sup>, знатный человек, в прошлом жрец Юпитера, а эта должность в Сиракузах — наиболее почетна; он предложил мне и моему брату, если нам будет угодно, пожаловать в их сенат; по его словам, сенаторы в полном соборе в курии, и он, по решению сената, просит нас прийти.

(LXII, 138) Вначале мы колебались и не знали, что нам делать; но нам сейчас же пришло на ум, что мы не должны отказываться от присутствия в этом собрании. Поэтому мы пришли в курию. Нас очень почтительно приветствуют вставанием. По просьбе должностного лица, мы садимся. Начинает говорить Диодор, сын Тимархиды<sup>132</sup>, превосходивший других и своим влиянием и летами, и, как мне показалось, жизненным опытом. Вначале он сказал следующее: сенат и жители Сиракуз глубоко опечалены тем, что я, в других городах Сицилии объяснявший сенату и жителям, сколько пользы для себя и сколько добра они могут ожидать от моего приезда, принимавший от всех жалобы, представителей и письма и выслушивавший свидетельские показания, в их городе ничего подобного не делаю. Я ответил, что в Риме, в собрании сицилийцев, когда, по общему решению всех представителей городских общин, меня просили о помощи и поручили мне вести дело всей провинции, представители Сиракуз не присутствовали, а я, со своей стороны, не требую, чтобы сколько-нибудь неблагоприятное для Гая Верреса решение было принято в той курии, где я вижу золоченую статую Гая Верреса. (139) После этих моих слов присутствовавшие начали так громко сетовать при виде этой статуи и при напоминании о ней, что она показалась мне поставленным в курии памятником преступлений, а не милостей. Затем, все они — каждый по-своему, насколько умел, убедительно — начали рассказывать мне о том, о чем я уже говорил: что разграблен город, что храмы опустошены, что из наследства Гераклия, которое Веррес будто бы уступил управителям палестры, сам он взял себе наибольшую часть; что нельзя требовать приязни к управителям палестры от человека, унесшего даже бога, создавшего оливковое масло; что его статуя сооружена не на общественные деньги и не от имени города, — ее решили изготовить и поставить те, кто

участвовал в расхищении наследства; что они же были представителями общины, прибывшими в Рим, помощниками Верреса в его бесчестных действиях, соучастниками в его грабежах, его пособниками в гнусных поступках; что мне нечего удивляться, если те лица не присоединились к общему решению представителей городских общин и пренебрегли благополучием Сицилии.

(LXIII, 140) Убедившись, что на беззакония Верреса жители Сиракуз сетуют не меньше, а скорее даже больше, чем остальные сицилийцы, я открыл им свои намерения, касающиеся их, потом изложил и объяснил им всю свою задачу и, наконец, посоветовал им не изменять общему делу и признать недействительным тот хвалебный отзыв, какой они, по их словам, вынесли Верресу задолго до этого времени, под влиянием насилия и страха. Тогда, судьи, жители Сиракуз — клиенты и друзья Верреса — поступили так: прежде всего показали мне городские книги, хранившиеся в тайном отделении эрария; в них были перечислены все похищенные Верресом предметы, упомянутые мной, и даже большее число их, чем я мог назвать; было точно записано, что именно пропало из храма Минервы, что — из храма Юпитера, что — из храма Либера; кто и как должен был следить за сохранностью этих предметов, тоже было внесено в записи; а так как эти лица, согласно правилу, должны были сдавать отчет и передавать все полученное ими своим преемникам по должности, то они просили не возлагать на них ответственности за пропажу этих вещей; поэтому все они были освобождены от ответственности и прощены. Я распорядился опечатать эти книги печатью города и доставить их мне.

(141) Что касается хвалебного отзыва, то мне дали следующее объяснение. Вначале, когда от Гая Верреса, за некоторое время до моего приезда, пришло письмо насчет хвалебного отзыва, они не приняли никакого решения; затем, когда некоторые из его друзей стали им напоминать, что следует вынести какое-нибудь решение, их предложение было отвергнуто с громким криком и бранью. Впоследствии, незадолго до моего приезда, лицо, облеченнное высшей властью<sup>133</sup>, потребовало от них постановления. Они постановили дать хвалебный отзыв, но так, чтобы он мог принести Верресу больше вреда, чем пользы. Это именно так, судьи! Послушайте мой рассказ, основанный на том, что они мне сообщили.

(LXIV, 142) В Сиракузах есть обычай, по которому в случаях, когда сенату о чем-нибудь докладывают, всякий желающий может высказать свое мнение; поименно никому не предлагают высказываться; однако лица, старшие годами и занимающие более высокие должности, обычно сами высказываются первыми, а остальные дают им эту возможность. Но если все молчат, то их обязывают высказаться и порядок определяется по жребию. Таков был обычай, когда сенату доложили насчет хвалебного отзыва о Верресе. Прежде всего, желая оттянуть время, многие внесли запрос: когда речь шла о Сексте Педуцее<sup>134</sup>, человеке с величайшими заслугами перед городской общиной и всей провинцией, они ранее, узнав о грозящих ему неприятностях и желая вынести ему хвалебный

отзыв от имени города за его многочисленные и величайшие заслуги, натолкнулись на запрещение со стороны Верреса; хотя Педуцей теперь в их хвалебном отзыве не нуждается, все-таки будет несправедливо, если сперва будет принято не их тогдашнее добровольное решение, а нынешнее вынужденное. Все присутствовавшие громко приветствовали это предложение и потребовали, чтобы оно было принято. (143) Доложили насчет Педуцея. Каждый высказался по очереди, в соответствии со своим возрастом и почетной должностью. Это можно видеть из подлинного постановления сената; ведь предложения виднейших людей записываются дословно. Читай. *"Что касается высказываний о Сексте Педуцее, ... высказались..."* Указаны имена тех, которые выступали первыми. Выносится решение.

Затем докладывают насчет Верреса. Пожалуйста, скажи, как. *"Что касается высказываний о Гае Верресе, ..."* Что же написано дальше? — "...*так как никто не встал и не внес предложения, ...*" Что это значит? — "*был брошен жребий*". Почему? Неужели никто не захотел добровольно высказать похвалу тебе как претору, защитить тебя от опасности, особенно когда этим самым можно было снискать расположение претора? Никто. Даже участники в твоих попойках, твои советчики, сообщники, приспешники не посмели произнести ни слова; в той самой курии, где стояла твоя статуя и нагая статуя твоего сына, никого не тронул даже вид твоего обнаженного сына<sup>135</sup>, так как все помнили, как была обнажена провинция.

(144) Кроме того, они рассказали мне, что они составили хвалебный отзыв так, чтобы всякий мог понять, что это не похвала, а скорее издевательство, коль скоро отзыв напоминает о позорной и злополучной претуре Верреса. Ведь в нем было написано: *"Так как он никого не засек розгами до смерти, ..."* он, который, как вы слышали<sup>136</sup>, велел обезглавить знатнейших и честнейших людей! — "*так как он неусыпно заботился о провинции, ...*" он, который если не досыпал, то ради бесчинств и разврата! — "*так как он не подпускал морских разбойников к острову Сицилии, ...*" — он, который позволил им посетить даже Остров в Сиракузах<sup>137</sup>!

(LXV, 145) Получив от них эти сведения, я ушел вместе с братом из курии, чтобы они, в наше отсутствие, вынесли решение по своему усмотрению<sup>138</sup>. Они тотчас же постановили, во-первых, от имени общины заключить с братом моим Луцием союз гостеприимства, так как он отнесся к жителям Сиракуз с такой же приязнью, с какой к ним всегда относился я<sup>139</sup>. Решение это тогда было не только записано, но и вырезано на медной дощечке и передано нам. Очень любят тебя, клянусь Геркулесом, твои милые сиракузяне, на которых ты так часто ссылаешься, раз они усматривают вполне основательную причину для дружеских отношений с твоим обвинителем в его намерении обвинять тебя и в его приезде для расследования по твоему делу! Затем — и притом без колебаний в мнениях, почти единогласно — было решено объявить недействительным принятый ранее хвалебный отзыв о Гае Верресе. (146) После того как уже не

только была произведена диссессия<sup>140</sup>, но и было записано и внесено в книги решение, к претору обратились с апелляцией<sup>141</sup>. И кто? Какое-либо должностное лицо? Нет. Сенатор? Даже не сенатор. Кто-нибудь из жителей Сиракуз? Вовсе нет. Кто же обратился к претору с апелляцией? Бывший квестор Верреса — Публий Цесеций<sup>142</sup>. Забавное дело! Всеми Веррес покинут, лишен помощи, оставлен! На решение сицилийского должностного лица — для того, чтобы сицилийцы не могли вынести постановления в своем сенате, чтобы они не могли осуществить своего права согласно своим обычаям, своим законам, — с апелляцией обратился к претору не друг Верреса, не его гостеприимец, даже не сицилиец, а квестор римского народа! Где это видано, где слыхано? Справедливый и мудрый претор велел распустить сенат<sup>143</sup>; ко мне сбежалась огромная толпа. Прежде всего сенаторы стали жаловаться на то, что у них отнимают их права, их свободу: народ хвалил и благодарили сенаторов; римские граждане ни на шаг не отходили от меня. В этот день мне едва удалось — и то с большими усилиями — предотвратить насилие над тем любителем апелляций.

(147) Когда мы явились к трибуналу претора, он придумал очень остроумное решение: прежде чем я мог произнести хотя бы одно слово, он встал с кресла и ушел. Так как уже начало смеркаться, мы ушли с форума. (LXVI) На следующий день, рано утром, я потребовал, чтобы претор позволил жителям Сиракуз передать мне вынесенное накануне постановление их сената. Он ответил отказом и сказал, что мое выступление с речью в греческом сенате было недостойным поступком с моей стороны, но уж совершенно недопустимо было то, что я, находясь среди греков, говорил по-гречески. Я ответил ему то, что мог, что должен был и что хотел ответить; между прочим, я, помнится, указал ему на явную разницу между ним и знаменитым Нумидийским, настоящим и истинным Метеллом<sup>144</sup> — тот отказался помочь своим хвалебным отзывом своему шурину и близкому другу, Луцию Лукуллу<sup>145</sup>; он же для совершенно чужого ему человека добывает у городских общин хвалебные отзывы, применяя насилие и угрозы.

(148) Поняв, что на претора сильно повлияли последние известия, сильно повлияли письма — не рекомендательные, а денежные<sup>146</sup>, я, по совету самих жителей Сиракуз, попытался силой завладеть книгами, содержащими постановление сената. По поводу этого — новое стеченье народа и новые распри; итак, не подумайте, что Веррес был совсем лишен друзей и гостеприимцев в Сиракузах, был вовсе гол и одинок. Оборонять книги начинает какой-то Феомнаст, до смешного сумасшедший человек, которого сиракузяне зовут Феорактом<sup>147</sup>; человек, за которым бегают мальчишки; всякая его речь вызывает дружный смех. Однако его безумие, забавное в глазах других людей, тогда мне было в тягость; с пеной у рта, сверкая глазами, он с громким криком обвинял меня в насильственных действиях по отношению к нему; мы вместе отправились в суд. (149) Тут я стал требовать позволения опечатать книги и увезти их; Феомнаст возражал, говоря, что это не постановление сената, раз насчет него к претору обратились с апелляцией, и что его не надо передавать

мне. Я стал читать закон, в силу которого в моем распоряжении должны быть все книги и записи; но этот полуумный настаивал на своем, говоря, что до наших законов ему дела нет. Хитроумный претор сказал, что ему не хотелось бы, чтобы я увозил в Рим то, что нельзя признать постановлением сената. Словом, если бы я не пригрозил ему хорошенъко, если бы я не указал ему на кару, налагаемую законом, то я не получил бы книг. А этот полуумный, который, выступая в защиту Верреса, на меня орал, после того как ничего не добился, отдал мне, видимо, желая снискать мое благоволение, тетрадку, где были перечислены все грабежи, совершенные Верресом в Сиракузах, впрочем, уже известные мне из показаний других людей.

(LXVII, 150) Пусть тебя теперь хвалят мамертинцы, так как они — единственные во всей провинции, желающие твоего оправдания; но пусть хвалят при условии, что Гей, глава посольства, будет здесь<sup>148</sup>; при условии, что они будут готовы отвечать мне на мои вопросы. А я — да будет им ведомо! — намерен спросить их вот о чем: должны ли они поставлять корабли римскому народу? Они ответят утвердительно. Поставили ли они корабль в претору Верреса? Они ответят отрицательно. Построили ли они за счет города огромный грузовой корабль, который они отдали Верресу? Они не смогут это отрицать. Брали ли у них Гай Веррес хлеб, чтобы отправлять его римскому народу, как поступали его предшественники? Нет. Сколько солдат и матросов дали они в течение трех лет? Ни одного, скажут они. Что Мессана была складом для всего похищенного и награбленного добра, они отрицать не смогут; что оттуда вывезено очень много вещей на множестве кораблей, наконец, что этот огромный корабль, данный Верресу мамертинцами, с грузом вышел в море и что Веррес выехал на нем, — все это им придется признать.

(151) Поэтому держись, пожалуй, за этот хвалебный отзыв мамертинцев. Но сиракузская городская община, как мы видим, настроена против тебя именно так, как этого заслуживает твое обращение с ней. Они упразднили также и позорные Веррии. И в самом деле, совершенно не подобало воздавать божеские почести тому человеку, который похитил изображения богов. Сиракузяне, клянусь Геркулесом, по всей справедливости даже заслуживали бы порицания, если бы они, вычеркнув из своего календаря торжественный и праздничный день игр, собиравший толпы народа, — так как в этот день Сиракузы, как говорят, были взяты Марцеллом, — в этот же самый день устраивали празднество в честь Верреса, хотя он отнял у сиракузян то, что им было оставлено в тот злосчастный день. Но обратите внимание, судьи, на бесстыдство и наглость человека, который не только учредил эти позорные и смехотворные Веррии на деньги Гераклия, но также и велел упразднить Марцеллии с тем, чтобы сиракузяне из года в год совершали священнодействия в честь того, из-за кого они лишились возможности совершать священнодействия, завещанные им предками, и утратили даже и богов своих отцов, и чтобы они отменили празднества в честь того рода, благодаря которому они сохранили все другие праздничные дни.

**ПРИМЕЧАНИЯ****РЕЧЬ ПРОТИВ ГАЯ ВЕРРЕСА. О ПРЕДМЕТАХ ИСКУССТВА.**

1. Имеется в виду *Мессана*. Ее жителей называли также и мамертинцами — от осского и сабинского "Мамерс" (Марс, покровитель Мессаны). Ср. речь 4, § 42 сл.
2. *Предстатель* (*laudator*) — лицо, выступающее в суде с хвалебным отзывом о подсудимом. Кроме случаев суда, представители из городских общин иногда приезжали в Рим с хвалебными отзывами о своих бывших наместниках. См. письмо Fam., III, 8, 2 (CCXXI).
3. Притворное пренебрежение к греческой культуре. Ср. речь 1, § 46. *Пракситель* — знаменитый аттический скульптор IV в.
4. *Луций Муммий* взял Коринф в 146 г. По мифу, местом пребывания муз была гора Геликон, близ Феспий. Статуи муз, перевезенные Муммием в Рим, были названы Феспиадами. *Храм Счастья* (или Удачи, *Felicitas*) находился невдалеке от Палатинского холма.
5. *Мирон* — греческий скульптор V в.
6. *Канефоры* (корзиноносицы) — аргосские девушки, участницы жертвоприношений Гере, носившие на голове корзины со священными предметами.
7. *Поликлет* — скульптор VI в., родом из Аргоса.
8. *Гай Клавдий Пульхр* был курульным эдилом в 99 г. Он первый показал народу слонов во время общественных игр.
9. *Басилика* (римская) — общественное здание с галереями и колоннадами, место для суда, торговых сделок и прогулок. Первая басилика была построена в 184 г. цензором Марком Порцием Катоном (Порциева б.); сгорела в 52 г. во время похорон Публия Клодия (см. речь 22). В 179 г. консул Марк Фульвий Нобилиор построил басилику (Фульвиева б.), восстановленную в 78 г. консулом Луцием Эмилием Лепидом [В действительности — консулом 78 г. Марком Эмилием Лепидом. — Любимова Ольга] (Эмилиева б.). В 169 г. была построена Семпрониева, в 121 г. Опимиева басилика.
10. Намек на оратора Квinta Гортенсия. См. прим. 11 к речи 2.
11. Богиня благополучия (греч. *Agathe Tyche*); ее изображали с рогом изобилия. Ее особенно почитали в Сицилии; одна из частей города Сиракуз называлась Тихэ.
12. Имеется в виду Хелидона, возлюбленная Верреса, умершая в 72 г.
13. *Potestas*. Об империи см. прим. 90 к речи 1. *Легаты* — 1) послы сената, 2) назначенные сенатом должностные лица для сопровождения полководца или наместника. В отсутствие наместника, его заменял *legatus pro praetore*. Легат не обладал *potestas*.
14. Имеются в виду законы о вымогательстве, определявшие также и права наместников в провинциях.
15. 400 денариев равнялись 1600 сестерциям.
16. Ср. речь 4, § 47.
17. *Кибея* (греч.) — большое грузовое судно. См. речь 4, § 44 сл.
18. Имеется в виду Корнелиев закон о вымогательстве.
19. О богах-пенатах см. прим. 31 к речи 1.
20. Так называемая *атимия* (утрата гражданской чести). Утратив гражданскую честь, Гей уже не мог бы выступить как свидетель, а его прежние показания потеряли бы силу. "Сенат" — местный.
21. *Модий* равнялся 8,75 литра.
22. В Сицилии *независимыми* (суверенными) *городскими общинами*, свободными от повинностей (*civitates liberae ac immunes*), были Галеса, Центурипы, Сегеста, Галикии и Панорм. Их права определялись постановлением римского сената.
23. *Фаселида* — приморский город в Ликии (Малая Азия). *Публий Сервилий*, консул 79 г., успешно действовал против пиратов в Киликии, Ликии, Памфилии и Исафии, в 74 г. справил триумф и получил прозвание "Исафийский".
24. *Гай Порций Катон*, консул 114 г. О суде над ним сведений нет.
25. Имеются в виду *Луций Эмилий Павел Македонский*, *Марк Порций Катон Старший* и *Публий Корнелий Сципион Эмилиан*.

26. *Тимархид* был вольноотпущенником и акценсом (прим. 91) Верреса и его пособником в злоупотреблениях.
27. О *возмещении ущерба* (*litis aestimatio*) см. прим. 38 к речи 2.
28. О *Верриях* (празднествах, введенных Верресом в Сицилии) см. ниже, § 151. О *Сексте Коминии* других сведений нет.
29. См. речь 4, § 139-171.
30. Об узах гостеприимства см. прим. 3 к речи 1. Городская община оказывала римскому официальному лицу гостеприимство путем так называемой проксении: именитый член общины принимал его у себя от имени общины; при этом соблюдалась очередность.
31. "*Благоволение*" римского народа — избрание в квесторы. Бывший квестор (квесторий) становился сенатором.
32. Очевидно, Басилиск и Перценний получили права римского гражданства благодаря Гнею Помпею Страбону и, по обычаям, приняли его родовое, а Басилиск также и личное имя. Ср. ниже, § 37 сл.
33. Т.е. к сенаторам, которых Цицерон старается настроить против городской общины, не уважавшей сената.
34. Город *Регий* получил права римского гражданства в 90 г. Регий находился на итальянском берегу Мессанского (Сицилийского) пролива.
35. Городская община в Италии и в провинциях обычно состояла из *граждан* (*cives*) и *поселенцев* (*incolae*).
36. Аттал — имя пергамских царей; имеются в виду ковры, расшитые золотом.
37. *Фалеры* — золотые или серебряные пластины с изображениями; их носили поверх панциря, а также украшали ими сбрую коня.
38. *Кибира* — город в Карии. Этот факт, по-видимому, относится к квестуре Верреса. Ср. речь 2, § 11.
39. Веррес был в 80-79 гг. легатом Гнея Корнелия Долабеллы в Киликии, его легатство, по словам Цицерона, ознаменовалось грабежами и насилиями.
40. Один из приближенных Верреса.
41. *Гидрия* — сосуд для воды.
42. В Сицилии на горе Эрике находился храм Афродиты Урании. При храме были рабы и рабыни, помогавшие при богослужении. Они могли выкупаться на свободу, но оставались в зависимом положении. Они имели право выступать в суде как сторона. Веррес использовал "рабов Венеры" как своих агентов для сбора десятины и для вымогательства. См. речь 4, § 141; 6, § 43.
43. О *комперендиации* см. прим. 30 к речи 2.
44. О *Луции Корнелии Сисенне* см. ниже, § 43; "Брут", § 228. Речь идет о Римских играх в цирке; они состояли в беговых состязаниях — на колесницах и верхом. Сисенна был тогда курульным эдилом и устраивал празднества для народа.
45. *Триклиний* — ложе на троих: вокруг стола с трех сторон ставили три таких ложа; пирующие возлежали, опираясь на локоть.
46. *Абак* (греч.) — стол, на который во время обеда или напоказ ставили ценную утварь. Его доска и ножки изготавливались из ценного материала.
47. Закон запрещал делать актерам дорогие подарки; поэтому их стоимость преуменьшали.
48. Африанская тuya из породы можжевельников. Это дерево очень ценилось.
49. *Ферикл* — ваятель родом из Коринфа. *Ментор* — знаменитый скульптор; см. Марциал, *Эпиграммы*, XI, 11, 5.
50. По мифу, царь Амфиарай, обладавший даром предвидения, скрывался, чтобы не участвовать в войне Семерых против Фив, на которой ему было суждено погибнуть. Его выдала его жена Эрифила, которой Полиник, сын Эдипа, добивавшийся власти над Фивами, подарил золотое ожерелье.
51. Т.е. человека из своей преторской когорты (см. прим. 91). Ср. речь 4, § 146.
52. Внесение отсутствующего человека в списки обвиняемых считалось противозаконным.

53. *Traup*: обвиняемый или лицо, которому грозило судебное преследование, появлялись в общественных местах в темной тоге, отпускали бороду и волосы на голове; сенаторы сменяли тунику с широкой пурпурной каймой (*tunica laticlava*) на тунику с узкой каймой (*t. angusticlava*), какую носили римские всадники; последние надевали тунику без пурпурной полосы. Траур надевали также и родственники и друзья обвиняемого.

54. *Стений*, гражданин города Ферм в Сицилии, был ограблен Верресом, а впоследствии осужден им заочно.

55. *Квинт Аррий*, претор 73 г., должен был сменить Верреса в 72 г., но ему было поручено вести войну против Спартака. Аррий умер в 72 г.

56. О раздатчиках см. прим. 18 к речи 2. Подкуп обвинителя и нерадивое исполнение им своих обязанностей назывались преварикацией. Ср. речь 2, § 22 сл.

57. Сосуд для сжигания благовоний, иногда на цепях.

58. О лектике см. прим. 95 к речи 1.

59. *Timultus* — положение чрезвычайной опасности, которое объявляли в Риме, когда враг переходил через Альпы; граждане поголовно призывались к оружию, деятельность государственных учреждений и разбор дел в судах приостанавливались (так называемое *iustitum*). Ср. 10, § 26, 28; 11, § 4; 14, § 33.

60. В подлиннике *everriculum* — игра слов, намек на родовое имя "Веррес". Ср. ниже, § 95. Ниже намек на значение слова "Веррес" (боров). Ср. ниже, § 57.

61. Дворец царя Гиерона II (269-216 гг.), резиденция римских наместников.

62. *Темная туника и плащ* были одеждой греков, не подобавшей римскому магистрату. Римляне иногда одевались так в провинциях.

63. *Конвентом* римских граждан называлось общество римских граждан, живших в данном округе провинции и внесенных в списки. Конвентом назывался также и судебный округ провинции (*conventus iuridicus*); центр округа назывался форумом.

64. *Луций Кальпурний Писон* был в 74 г. претором вместе с Верресом; его отец был в 113 г. претором в Испании; его дед, Луций Кальпурний Писон, народный трибун 149 г., был автором закона о вымогательстве и получил прозвание *Frugi* (честный), сохранившееся в этой ветви Кальпурниева рода.

65. Имеется в виду курульное кресло — складное кресло из дерева или из бронзы с украшениями, принадлежность курульных (старших) магистратов.

66. *Белой глиной* греки пользовались для печатей на Востоке и, по-видимому, в Сицилии; у римлян были приняты восковые печати.

67. Сыновья Антиоха Евсебия, изгнанного из Сирии Тиграном, царем Армении. После успехов, достигнутых Лукуллом в войне с Митридатом VI, они вместе со своей матерью, дочерью Птолемея Фискона, отправились в Рим поддерживать свои притязания на царство в Александрии.

68. Имеются в виду войны Рима против Сертория, Митридата, пиратов и восставших гладиаторов (74-73 гг.).

69. В данном случае *триклиний* — столовая.

70. *Канделябры* изготавливались из бронзы или мрамора и имели до 2-3 метров в высоту. На плоскую верхушку канделябра ставили лампы.

71. *Храм Юпитера Капитолийского* сгорел во время пожара в 83 г. Восстановление его было начато Суллой и закончено Квинтом Лутацием Катулом в 69 г. Катул получил прозвание "Капитолийский".

72. *Cella* — святилище, в котором стояло изображение божества. Ср. речь 4, § 184.

73. *Дедикация* — акт освящения, передачи храма или предмета божеству.

74. См. Вергилий, "Энеида", V, 711 сл., 746-762.

75. *Публий Корнелий Сципион Эмилиан*, Карфаген был взят им и разрушен в 146 г.

76. Тиранн Агригента (570-554 гг.). Мастера, по его заказу изготавливавшего полого медного быка, звали Периллом или Перилаем. Ср. речь 4, § 145; письмо Att., VII, 20, 2 (CCCXVII).

77. Одежда римских матрон, доходившая до пят.

78. По представлению древних, человек, пораженный факелом божества, лишался рассудка. Ср. речь 1, § 66 сл.
79. Об императоре см. прим. 70 к речи 1.
80. Имеется в виду орган самоуправления городской общинны, "курия".
81. Не давая им аудиенции.
82. *Публий Корнелий Сципион Насика*, усыновленный Квинтом Цецилием Метеллом Пием, получил имя Квinta Цецилия Метелла Пия Сципиона; оптимат, впоследствии тесть Помпея; заступник Верреса.
83. "*Новым человеком*" (*homo novus*) называли человека не из сенаторского сословия, первым в своем роду добивающегося или достигшего консульства. Ср. речи 1, § 139; 4, § 35 сл.; 7, § 1, 3; 13, § 14 сл.; Квинт Цицерон, письмо Comment. pet., § 1 сл. (XII); Ювенал, Сатиры, VIII, 237.
84. *Проагор* — высшее должностное лицо греческой городской общинны в Сицилии.
85. *Гай Клавдий Марцелл* был наместником в Сицилии в 79 г.
86. См. прим. 40 к речи 2.
87. После взятия Сиракуз Марком Клавдием Марцеллом (212 г.) Марцеллы стали патронами Сицилии. В честь Марка Марцелла были учреждены празднества — *Марцеллии*, впоследствии упраздненные Верресом.
88. *Гимнасиарх* — управитель гимнасия, т.е. участка и помещений, где происходили гимнастические упражнения.
89. Культ Эскулапа (Асклепия) возник в Фессалии и распространился на области, населенные греками. Эскулап считался сыном Аполлона.
90. Имеются в виду должностные лица городской общинны.
91. Преторскую когорту составляли "*спутники*" (*contubernales, comites*) наместника, его личная охрана — молодые люди, начинавшие военную службу или желавшие сделать карьеру, а также и писцы, гарусники, врачи, акценсы и вольноотпущенники. Акцент — младший чиновник при магистрате с империем. Ср. письмо Q. fr., I, 1, 11 (XXX).
92. *Великая Мать* — обожествленная земля, в разных странах именовавшаяся по-разному: Геей, Реей, Кибелой. Посвященные божеству панцири и шлемы употреблялись при священной пляске жрецов-куретов. См. Гесиод, фрагм. 198.
93. В Сицилии был распространен культ *Деметры* (*Цереры*) и *Персефоны* (*Прозерпины*). В Катине почитали *Деметру-Законодательницу* (*Thesmophoros* — наставница в земледелии).
94. Изготавлившиеся в Мелите (Мальта) ткани и ковры славились.
95. *Квинкверема* (военное судно с пятью рядами весел) была снаряжена для оказания почета. В Карфагене поклонялись Юноне-Небожительнице (*Iuno Caelestis*).
96. Греческие божества Деметра и ее дочь Персефона были отождествлены с римскими божествами Церерой и Либерой. Область Энны, ввиду своего плодородия, считалась местом пребывания Цереры. Дит и Орк (§ 111) — имена бога Плутона. См. Овидий, "Метаморфозы", V, 385 сл.; "Фасти", IV, 417 сл.
97. Афиняне спрашивали в честь Деметры и Коры (Персефоны) мистерии в Элевсине, где по греческой традиции возникло земледелие.
98. В 113 г.
99. *Сивиллины книги* — собрание предсказаний, по преданию, привезенное из Эрифт (Азия) в Кумы, а оттуда в Рим. Они получили название по имени пророчицы Сивиллы. Истолкованием их занималась особая жреческая коллегия (*decemviri sacrifaciundis*).
100. *Храм Цереры, Либера и Либеры* находился в Риме и был основан диктатором Авлом Постумием в 496 г., во время голода. *Отец Либер* — итальянское божество плодородия и весны, впоследствии отождествленное с греческим Дионисом (Вакхом).
101. *Триптолем* — аттическое божество, покровитель земледелия.
102. *Ника (Победа)* часто изображалась вместе с главными божествами греков. Фидий изваял Зевса и Афину держащими на руке Нику.
103. Ветки оливы, обвитые шерстяными лентами, были у греков принадлежностью просителей.

104. В 132 г., во время первого восстания рабов в Сицилии. Рабы, осажденные римлянами в Энне, продержались около двух лет.
105. Ср. речь 4, § 95 сл., 103 сл. Киликийцы были пиратами.
106. По свидетельству Страбона, город Сиракузы имел 180 стадиев (около 33 километров) в окружности; площадь его, внутри стен, равнялась около 18 квадратных километров. Это был самый большой город классической древности.
107. Т.е. общественное здание, место суда, пиршеств и пр.
108. Слово "*Неаполь*" означает новый город.
109. *Temenos* (греч.) — участок, посвященный божеству, святилище. *Теменит* был предместьем Сиракуз и получил свое название от находившегося там храма Аполлона.
110. *Агафокл* — тиранн, а позднее царь в Сиракузах (317-289 гг.).
111. По верованию римлян, всякий город находился под охраной своих богов и его можно было взять только после того, как боги отступятся от него. Поэтому осаде города предшествовали особые обряды и молитвы, в которых полководец, который вел осаду, просил богов-покровителей города покинуть его и переселиться в Рим (так называемая эвакуация). Успешность осады свидетельствовала о том, что боги покинули храмы города, которые тем самым теряли свою святость и неприкосновенность.
112. Имеется в виду Хелидона; см. выше, § 7, 83.
113. *Силанион* — греческий скульптор середины IV в. *Санфо* — греческая поэтесса VII-VI вв., родом с острова Лесбоса.
114. Храм Богини счастливого случая (*Fortuna huiusce diei*), построенный Квинтом Лутацием Катулом, консулом 102 г., после его победы над кимврами. В нем стояла статуя Афины работы Фидия.
115. Находившийся вблизи Фламиниева цирка *портик Метелла Македонского* был построен им после победы над Лже-Филиппом и превращения Македонии в римскую провинцию (148 г.).
116. "Эпиграмма" — надпись, обычно в стихах; в данном случае — посвящение или прославление.
117. *Пэн* — врач богов в гомеровской мифологии. Его отождествляли с Аполлоном.
118. О *Либере* ср. прим. 100. *Аристей*, греческое божество, считался сыном Аполлона и нимфы Кирены, он познакомил людей с оливой.
119. *Урий* (греч.) — посылающий попутный ветер.
120. До пожара 83 г. Эта статуя была вывезена из Пренесты Титом Квинкцием Цинциннатом; см. Ливий, VI, 29. На цоколе была надпись "Т. Квинкций", чем можно объяснить ошибку Цицерона. Тит Квинкций Фламинин — победитель македонян при Киноскефалах (197 г.).
121. О могиле Архимеда см. Цицерон, "Тускуланские беседы", V, § 64; Ливий, XXV, 31.
122. *Delphica mensa* — стол из мрамора или бронзы на трех ножках, напоминающий дельфийский треножник. *Кратер* (греч.) — сосуд с широким горлом для смешивания вина с водой.
123. Оратор *Луций Лициний Красс* и *Квинт Муций Сцевола* (понтифик) были в 103 г. курульными эдилами и во время общественных игр впервые в Риме показали народу львов.
124. Статуя *Европы на быке* была изваяна Пифагором из Регия (V в.). *Сатир*, или *Сатирий* — герой-эпоним *Сатирик*, местности вокруг Тарента. В *Книде* (Кария) находилась статуя Афродиты, в *Косе* — картина Апеллеса, изображавшая Афродиту. В Эфесе, в храме Артемиды, находилась картина Апеллеса, изображавшая Александра Великого с молнией в руке. "Аянт" и "Медея", по-видимому, картины Тимомаха. *Иалис* — легендарный основатель города Иалиса на острове Родосе.
125. В храме Деметры, около Афин, было три статуи работы Праксителя: Деметры, Персефоны и Иакха с факелом в руке. *Иакх* — гений из окружения Деметры; впоследствии превратился в юного Диониса.
126. *Парал* — аттический герой, которому приписывали изобретение длинных кораблей.
127. Об ограблении Верресом *Гераклия* говорится в "книге" II (О судебном деле), § 35.
128. Ср. речь 4, § 31.

129. *Луций Карпинаций* был представителем компании откупщиков пастбищ и находился в Сицилии при Веррессе. Вначале Карпинаций, в своих письмах в Рим, жаловался на притеснения со стороны Верреса, но впоследствии столкнулся с ним.
130. Имеются в виду злоупотребления Верреса в связи с откупами в Сицилии. "*Верруций*" (вместо "Веррес") — подлог в книгах Карпинация, раскрытым Цицероном. См. "книга" II (О судебном деле), § 169-191.
131. Т.е. проагором;ср. выше, § 50, 85; речь 4, § 160. Не смешивать с Гераклием, упомянутым в § 136.
132. Не смешивать с Тимархидом, агентом Верреса.
133. Претор Луций Цецилий Метелл, сменивший Верреса в Сицилии в 70 г.
134. Наместник в Сицилии в 76-75 гг.
135. Сын Верреса был изображен нагим, по греческому обычаю; так изображали эфебов (юношей-гимнастов).
136. Во время первой сессии, при допросе свидетелей.
137. См. выше, § 117; речь 4, § 96 сл.
138. Цицерон был вправе присутствовать в сиракузском "сенате", но удалился, памятую о правилах, принятых в римском сенате: приняв послов, сенат приступал к обсуждению вопроса лишь после их ухода.
139. Цицерон был связан с сиракузянами узами общественного гостеприимства со времени своей квестуры в Лилибее (75 г.).
140. *Дисцессия* — голосование в сенате; при этом сенаторы переходили к месту того сенатора, чье предложение они поддерживали.
141. *Апелляцией*, в широком смысле слова, называлось обращение к высшему магистрату с жалобой на действия или на распоряжение низшего.
142. О *Цесации* см. речь 4, § 63.
143. Тем самым претор Луций Метелл выступил в защиту Верреса.
144. *Квинт Цецилий Метелл* был консулом в 109 г. и за победу над царем Югуртой получил прозвание "Нумидийский". См. речь 18, § 37, 101, 130; письма Att., I, 16, 4 (XXII); Fam., I, 9, 16 (CLIX).
145. *Луций Лициний Лукулл*, отец консула 74 г., после неудачных действий в 102 г. против восставших рабов в Сицилии был обвинен в казнокрадстве и осужден.
146. После получения этих писем Луций Метелл начал требовать, чтобы городские общины Сицилии дали хвалебные отзывы о Веррессе, запугивать свидетелей и препятствовать их выезду в Рим. См. "книгу" II (О судебном деле), § 64.
147. Прозвище "*Феоракт*" означает: обезумевший по воле богов.
148. Ср. выше, § 15; речь 4, § 57 сл.

## РЕЧЬ ПРОТИВ ГАЯ ВЕРРЕСА

[*Вторая сессия, книга V, "О казнях". 70 г.*]

(I, 1) Как я вижу, судьи, ни у кого нет сомнений в том, что Гай Веррес совершенно открыто ограбил в Сицилии все святилища и общественные здания, делая это и как частное и как должностное лицо; что он не только без всякого страха перед богами, но даже и без утайки упражнялся во всех видах воровства и хищений. Но мне предстоит столкнуться с защитой особого рода, блестящей и великолепной, и способ борьбы с ней, судьи, я должен обдумать заблаговременно. Выставляют положение, что благодаря мужеству и исключительной бдительности, проявленными Верресом в смутное и грозное

время<sup>1</sup>, провинция Сицилия была сохранена невредимой от посягательств беглых рабов и вообще избавлена от опасностей войны.

(2) Что мне делать, судьи? Где мне найти основания для своего обвинения, к чему обратиться мне? Всему моему натиску противопоставляют, словно крепостную стену, славу доблестного императора<sup>2</sup>. Знаю я это "место"<sup>3</sup>; предвижу, куда Гортенсий направит свой удар. Опасности войны, трудное положение государства, малочисленность императоров опишет он; затем станет упрашивать вас, а потом, в сознании своего права, даже требовать, чтобы вы не позволяли, на основании свидетельских показаний сицилийцев, отнимать у римского народа такого воина и не допускали, чтобы обвинения в алчности, предъявленные ему, оказались в ваших глазах сильнее его заслуг как военачальника.

(3) Не могу скрыть от вас, судьи: я боюсь как бы, вследствие этой выдающейся военной доблести Гая Верреса, все его деяния не сошли ему безнаказанно. Вспоминаю, какое влияние, какое впечатление произвела во время суда над Манием Аквилием речь Марка Антония<sup>4</sup>. Как оратор будучи не только умен, но и решителен, он, заканчивая речь, сам схватил Мания Аквилия за руку, поставил его у всех на виду и разорвал ему на груди тунику, чтобы римский народ и судьи могли видеть рубцы от ранений, полученных им прямо в грудь; в то же время он долго говорил о ране в голову, нанесенной Аквилию военачальником врагов<sup>5</sup>, и внушил судьям, которым предстояло вынести приговор, сильные опасения, что человек, которого судьба уберегла от оружия врагов, когда он сам не щадил себя, окажется сохраненным не для того, чтобы слышать хвалу от римского народа, а чтобы испытать на себе суровость судей.  
(4) Мои противники пытаются теперь прибегнуть к тому же способу и вести защиту по тому же пути; к этому-то они и стремятся. Пусть Веррес вор, пусть он святотатец, пусть он первый во всех гнусностях и пороках, но он доблестный император, ему сопутствует счастье<sup>6</sup> и его надо сохранить, памятуя об испытаниях, которые могут предстоять государству.

(II) Не буду рассматривать твоего дела по всей строгости закона, не буду говорить того, чего я, пожалуй, должен был бы придерживаться, коль скоро суд происходит на основании определенного закона<sup>7</sup>, — а именно, что мы должны услыхать от тебя вовсе не о том, какую храбрость ты проявил на войне, а о том, как ты сохранил свои руки чистыми от чужого имущества. Но я повторяю — не об этом я буду говорить, но задам тебе вопрос, соответствующий, как я понимаю, твоему желанию: каковы и сколь значительны были твои деяния во время войны?

(5) Что ты говоришь? От войны, начатой беглыми рабами, Сицилия была избавлена благодаря твоей доблести? Великая это заслуга и делающая тебе честь речь! Но все-таки — от какой же это войны? Ведь, насколько нам известно, после той войны, которую завершил Маний Аквилий, в Сицилии войны с

беглыми рабами не было. — "Но в Италии такая война была". — Знаю и притом большая и ожесточенная. И ты пытаешься хотя бы часть успехов, достигнутых во время той войны, приписать себе? И ты хочешь разделить славу той победы с Марком Крассом или с Гнеем Помпеем?<sup>8</sup> Да, пожалуй, у тебя хватит наглости даже и на подобное заявление. Видимо, именно ты воспрепятствовал полчищам беглых рабов переправиться из Италии в Сицилию. Где, когда, с какой стороны? Тогда, когда они пытались пристать к берегу — на плотах или на судах? Ведь мы ничего подобного никогда не слыхали, но знаем одно: доблесть и мудрость храбрейшего мужа Марка Красса не позволили беглым рабам переправиться через пролив в Мессану на соединенных ими плотах, причем этой их попытке не пришлось бы препятствовать с таким трудом, если бы в Сицилии предполагали наличие военных сил, способных отразить их вторжение. — (6) "Но в то время как в Италии война происходила близко от Сицилии, все-таки в Сицилии ее не было". — А что в этом удивительного? Когда война происходила в Сицилии, столь же близко от Италии, она даже частично Италии не захватила.

(III) В самом деле, какое значение придаете вы в связи с этим такому близкому расстоянию между Сицилией и Италией? Доступ ли для врагов был, по вашему мнению, легок или же заразительность примера, побуждавшего начать войну, была опасна? Всякий доступ в Сицилию был не только затруднен, но и прегражден для этих людей, не имевших ни одного корабля, так что тем, которые, по твоим словам, находились так близко от Сицилии, достигнуть Океана<sup>9</sup> было легче, чем высадиться у Пелорского мыса. (7) Что касается заразительности восстания рабов, то почему о ней твердишь именно ты, а не все те люди, которые стояли во главе других провинций? Не потому ли, что в Сицилии и ранее происходили восстания беглых рабов<sup>10</sup>? Но именно этому обстоятельству провинция эта и обязана своей безопасностью и в настоящем и в прошлом. Ибо, после того как Маний Аквиллий покинул провинцию, согласно распоряжениям и эдиктам всех преторов, ни один раб не имел права носить оружие. Приведу вам случай давний и, ввиду примененной строгости, хорошо известный каждому из вас. Луцию Домицию, во время его претуры в Сицилии<sup>11</sup>, однажды принесли убитого огромного вепря; он с удивлением спросил, кто его убил; узнав, что это был чей-то пастух, он велел позвать его; тот немедленно прибежал в надежде на похвалу и награду; Домиций спросил его, как убил он такого огромного зверя; тот ответил — рогатиной. Претор тут же приказал его распять. Проступок этот может показаться слишком суровым; я лично воздержусь от его оценки; я только вижу, что Домиций предпочел прослыть жестоким, каюя ослушника, а не, попустительствуя ему, — беспечным.

(IV, 8) Благодаря такому управлению провинцией, уже тогда когда вся Италия была охвачена Союзнической войной, Гай Норбан<sup>12</sup>, при всей своей нерешительности и недостатке храбрости, наслаждался полным спокойствием; ибо Сицилия вполне могла сама оберечь себя от возникновения войны внутри страны. Право, трудно представить себе более тесную связь, чем между нашими дельцами и сицилийцами, поддерживаемую общением, деловыми отношениями,

расчетами, согласием; условия жизни самих сицилийцев таковы, что все блага жизни связаны для них с состоянием мира; кроме того, они настолько благожелательно относятся к владычеству римского народа, что не имеют ни малейшего желания ослабить его и заменить другим владычеством; распоряжения преторов и строгости владельцев предотвращают опасность мятежей рабов, и поэтому нет такого внутреннего зла, какое могло бы возникнуть в самой провинции.

(9) Итак, во время претуры Верреса, значит, не было никаких волнений среди рабов в Сицилии, никаких заговоров? Нет, не произошло решительно ничего такого, о чем могли бы узнать сенат и римский народ, ничего, о чем сам Веррес написал бы в Рим. И все же, подозреваю я, в некоторых местностях Сицилии началось брожение среди рабов; я, надо сказать, заключаю об этом не столько на основании событий, сколько на основании поступков и указов Верреса. Обратите внимание, как далек буду я от неприязни к нему, ведя дело. Те факты, которые он хотел бы найти, и о которых вы еще никогда не слышали, припомню и подробно изложу вам я сам.

(10) В Триокальском округе, который беглые рабы уже занимали ранее, на челядь одного сицилийца, некоего Леонида, пало подозрение в заговоре. Об этом сообщили Верресу; немедленно, как и надлежало, по его приказу людей, которые были названы, схватили и доставили в Лилибей. Хозяин их был вызван, суд состоялся, был вынесен обвинительный приговор. (V) Что же дальше? Что вы думаете? Вы, пожалуй, ждете рассказа о каком-либо воровстве или хищении? Нечего вам постоянно подозревать одно и то же! Когда грозит война, какое уж тут воровство! Даже если в этом деле представился удобный случай нажиться, то он был упущен. Веррес мог сорвать с Леонида денежки тогда, когда вызывал его в суд. Тогда он мог сторговаться с ним — дело не новое для Верреса — о прекращении следствия; затем — об оправдании; но после обвинительного приговора рабам какая же еще возможна нажива? Их надо вести на казнь. Ведь свидетелями были и члены совета судей, и официальные записи, и блистательная городская община Лилибей, и пользующийся глубоким уважением многочисленный конвент римских граждан<sup>13</sup>. Делать было нечего, их пришлось вывести. И вот, их вывели и привязали к столbam<sup>14</sup>. (11) Вы все еще, мне кажется, ждете какой-то развязки, судьи, так как Веррес никогда ничего не делает без какого-либо барыша и поживы. Что мог он сделать при подобных обстоятельствах? Вообразите себе, какое вам угодно, бесчестное деяние — и я все-таки поражу всех вас неожиданностью. Людей, признанных виновными в преступлении и притом в заговоре, обреченных на казнь, привязанных к столbam, неожиданно, на глазах у многих тысяч зрителей, отвязали и возвратили их хозяину из Триокалы.

Что можешь ты сказать по этому поводу, лишенный рассудка человек, кроме того, о чем я тебя не спрашиваю, о чем в таком преступном деле, хотя сомневаться и не приходится, спрашивать не следует, даже если возникает

сомнение, — что же ты получил, сколько и каким образом? Во все это я не вхожу и избавляю тебя от такой заботы. И без того — я в этом уверен — все поймут, что на такое дело, на которое никого, кроме тебя, нельзя было бы склонить никакими деньгами, ты даром отважиться не мог. Но я ничего не говорю о твоем способе красть и грабить; я обсуждаю теперь твои заслуги как военачальника.

(VI, 12) Что же ты скажешь теперь, доблестный страж и защитник провинции? Рабов, которые, как ты установил при следствии, решили взяться за оружие и поднять мятеж в Сицилии и которых ты, на основании решения своего совета, признал виновными, ты, уже передав их для казни по обычаям предков, осмелился избавить от смерти и освободить, а крест, воздвигнутый тобой для осужденных рабов, ты сохранил, видимо, для римских граждан, казненных без суда. Гибнущие государства, утратив последнюю надежду на спасение, обычно решаются на крайнюю меру: восстанавливают осужденных в их правах, освобождают заключенных, возвращают изгнанников, отменяют судебные приговоры<sup>15</sup>. Когда это случается, все понимают, что такое государство близко к гибели и что на его спасение надежды не остается. (13) Но там, где это бывало, это делали для избавления от казни или для возвращения из изгнания либо людей, любимых народом, либо знатных; притом это совершали не те же самые лица, которые ранее вынесли им приговор; это происходило не тотчас же после осуждения и не в том случае, если эти люди были осуждены за покушение на жизнь и достояние всех граждан. Но этот случай, право, совершенно неслыханный, и его можно объяснить, только приняв во внимание характер Верреса, а не существо самого дела: ведь от казни были избавлены рабы, избавлены тем самым человеком, который их судил; они были освобождены им тотчас же после осуждения, уже во время казни; и это были рабы, осужденные за преступление, угрожавшее существованию и жизни всех свободных людей.

(14) О, прославленный полководец! Он подстать не Манио Аквилию, храбрейшему мужу, но, право, Павлам, Сципионам, Мариям! Как дальновиден был он при страхе, охватившем провинцию ввиду опасности, угрожавшей ей! Видя, что сицилийские рабы готовы восстать в связи с мятежом среди беглых рабов в Италии, какой ужас внушил он им! Ведь никто из них и шевельнуться не посмел. Он велел схватить их. Кто не испугался бы этого? Он велел привлечь их хозяев к ответственности. Что может быть страшнее для раба? Он вынес приговор: "По-видимому, совершили..."<sup>16</sup>. Возникавшее пламя он, видимо, потушил слезами и кровью кучки людей. Что же дальше? Порка, пытка раскаленным железом и — последняя кара для осужденных, острастка для других — распятие и смерть на кресте. От всех этих мучений их избавили. Какой ужас должен был, вне всякого сомнения, охватить рабов при этой сговорчивости претора, у которого жизнь рабов, осужденных за преступный заговор, можно было выкупить даже при посредничестве самого палача!

(VII, 15) Далее, разве ты в случае с Аристодамом из Аполлонии, в случае с Леонтом из Имахары не поступил точно так же? А это брожение среди рабов и

внезапно возникшее подозрение насчет возможности мятежа? Что вызвало оно с твоей стороны? Заботу ли об охране провинции или же надежду на новый источник бесчестнейшей наживы? После того как, по твоему наущению, был обвинен управитель усадьбой одного знатного и уважаемого человека, Евменида из Галиций, за которого Евменид заплатил очень дорого, ты взял у Евменида 60 000 сестерциев, как он сам недавно показал под присягой, сообщив все подробности этого дела. С римского всадника Гая Матриния ты, в его отсутствие, когда он был в Риме, взял 600 000 сестерциев, заявив, что его управители усадьбами и пастухи кажутся тебе подозрительными. Это сказал Луций Флавий, доверенный Гая Матриния, выплативший тебе эти деньги; это сказал сам Матриний; это говорит прославленный муж, цензор Гней Лентул, который, из уважения к Матринию, тотчас же написал тебе письмо и попросил других людей о том же.

(16) Далее, возможно ли обойти молчанием случай с Аполлонием из Панорма, сыном Диокла, по прозванию Близнецом? Возможно ли привести случай, более известный во всей Сицилии, более возмутительный, более ясный? Приехав в Панорм, Веррес послал за ним и велел назвать его имя с трибунала в присутствии большой толпы и многочисленных римских граждан. Тотчас же пошли толки: "А я-то удивлялся, как же он так долго оставляет в покое богатого Аполлония"; "Видно, он что-нибудь придумал, что-нибудь нашел"; "Уж, конечно, Веррес внезапно вызывает такого богача в суд не спроста". Все ждали с крайним нетерпением, что будет, как вдруг прибежал смертельно бледный сам Аполлоний с юным сыном; престарелый отец Аполлония уже давно не покидал постели. (17) Веррес назвал ему раба, по его словам, старшего пастуха, и сказал, что тот устроил заговор и подстрекал других рабов; между тем такого раба среди челяди Аполлония вообще не было. Веррес потребовал немедленной выдачи этого раба. Аполлоний стал уверять, что у него вообще нет раба с таким именем. Претор велел схватить его у трибунала и бросить в тюрьму. Тот, когда его брали, кричал, что он, несчастный, ничего не совершал, что за ним нет никакого проступка, что его деньги разданы взаймы и наличных у него нет. Пока он говорил это в присутствии огромной толпы, давая каждому понять, что подвергается такой жестокой несправедливости именно потому, что не дал денег, пока он, повторяю, вопил о деньгах, его заковали и бросили в тюрьму.

(VIII, 18) Обратите внимание на последовательность претора [и притом такого], которого при этих обстоятельствах не защищают, как посредственного претора, а хвалят, как выдающегося полководца. Когда нам угрожал мятеж рабов, Веррес, без суда, подвергал владельцев рабов той казни, от которой он освобождал осужденных рабов. Аполлония, богатейшего человека, который, в случае мятежа рабов в Сицилии, лишился бы огромного состояния, Веррес, под предлогом мятежа беглых рабов, без разбора дела бросил в тюрьму; рабов же, которых он сам, в соответствии с мнением своего совета, признал виновными в заговоре с целью мятежа, он, не спросив мнения своего совета, избавил от всякой кары. (19) Но что, если Аполлоний действительно провинился и понес за это

карю, заслуженную им? Неужели мы все же, ведя это дело, поставим Верресу в вину и признаем предосудительным всякий мало-мальски строгий приговор? Я не буду столь суров, не стану следовать обычаю обвинителей — рассматривать всякое проявление милосердия как крупную небрежность, выставлять малейшую суровость при наказании как отвратительную жестокость. Не стану я так рассуждать; твои приговоры я буду отстаивать, твой авторитет — защищать, пока ты сам будешь хотеть этого. Но как только ты сам начнешь отменять свои собственные приговоры, тебе придется отказаться от нападок на меня: я с полным правом буду требовать, чтобы тот, кто сам себя осудил, был осужден также и присяжными судьями.

(20) Не стану я защищать Аполлония, своего друга и гостеприимца<sup>17</sup>, чтобы не показалось, что я добиваюсь отмены твоего приговора; не буду говорить о его честности, достоинстве и добросовестности; оставлю в стороне и то, уже упомянутое мной обстоятельство, что состояние Аполлония составляли рабы, скот, усадьбы, деньги, данные взаймы, так что ему меньше, чем кому-либо другому, были на руку беспорядки или войны в Сицилии; не стану также говорить, что даже в случае значительной вины Аполлония, его, всеми уважаемого гражданина весьма уважаемой городской общиной, не следовало подвергать такому тяжкому наказанию без суда. (21) Не буду возбуждать против тебя ненависти даже в связи с тем, что в то время, когда такой муж находился в темной, смрадной и грязной тюрьме, ты своими достойными тиранна интердиктами<sup>18</sup> совершенно запретил допускать к этому несчастному его престарелого отца и юного сына. Обойду также молчанием, что в каждый твой приезд в Панорм, на протяжении года и шести месяцев (вот сколько времени Аполлоний находился в тюрьме!) к тебе являлись в качестве просителей все члены панормского сената вместе с властями и городскими жрецами и умоляли и заклинали тебя, наконец, избавить от мучений этого несчастного и невинного человека. Все это я оставляю в стороне; если я пожелаю это рассмотреть, мне будет легко доказать, что ты своей жестокостью ко всем другим людям уже давно преградил состраданию всякий доступ к сердцам твоих судей.

(IX, 22) Во всем этом я тебе уступлю и пойду тебе навстречу: предвижу, что именно Гортенсий будет говорить в твою защиту. Он скажет, что, действительно, ни старость отца, ни молодость сына, ни слезы их обоих не имели для Верреса никакого значения по сравнению с заботой о пользе и благе провинции; что невозможно управлять государством, не внушая людям страха и не применяя строгости; спросит, почему перед преторами носят связки, зачем им даны секиры<sup>19</sup>, зачем построены тюрьмы, зачем, по обычаю предков, определено столько видов наказания для дурных людей. Когда он выскажет все это с подобающей внушительностью и строгостью, я спрошу его, почему же этого самого Аполлония тот же Веррес неожиданно, не приведя ни одного нового факта, без чьего-либо заступничества, без всякого основания велел выпустить из тюрьмы, и буду утверждать, что это обвинение порождает столько подозрений, что я, не приводя доказательств, предоставлю судьям уже самим догадаться, в

чем заключается этот способ грабежа — сколь он бесчестен, сколь он возмутителен и какие неизмеримые и какие неограниченные возможности стяжания он дает.

(23) В самом деле, ознакомьтесь сначала вкратце с действиями Верреса по отношению к Аполлонию — сколько обид он причинил ему и сколь они значительны; затем взвесьте каждую из них и переведите на деньги. Вы поймете, что он для того и заставил одного богатого человека испытать так много, чтобы внушить другим страх перед такими же несчастьями и показать им пример грозящих им опасностей. Прежде всего, внезапно было предъявлено обвинение в уголовном и притом вызывающем ненависть преступлении; сообразите, сколько человек от этого откупилось и во сколько это могло им обойтись. Затем, дело — без обвинения, приговор — без участия совета судей, осуждение — без защиты; определите цену всему этому и подумайте только, что эти несправедливости выпали на долю одного Аполлония и что другие люди — а их, конечно, было много — от этих несчастий избавились за деньги. Наконец, мрак, оковы, тюрьма, мучительное заключение вдали от родителей и детей, вообще без чистого воздуха и солнечного света, нашего общего достояния; эту пытку, от которой человек вправе откупиться даже ценой жизни, перевести на деньги я не могу.

(24) Аполлоний откупился от всего этого поздно, уже сломленный горем и несчастьями, но его судьба все же научила других вовремя уступать преступной алчности Верреса — если только вы не думаете, что Веррес взвел именно на этого богатейшего человека столь ужасное обвинение без расчета на наживу и что он без такого же расчета внезапно освободил его из тюрьмы, или что этот род грабежа был применен Верресом к одному только Аполлонию в виде опыта, а не для того, чтобы его примером запугать всех самых богатых сицилийцев и внушить им страх.

(Х, 25) Я желал бы, судьи, чтобы Веррес сам напомнил мне о тех своих подвигах, которые я, быть может, пропущу; ведь я говорю о его военной славе. Мне кажется, что обо всех подвигах, совершенных им в связи с ожидавшимся мятежом беглых рабов, я уже рассказал; сознательно я, право, ничего не пропустил. Итак, вы знаете о его решениях, заботливости, бдительности, об охране и защите им провинции. В сущности, вам следует знать, какого рода полководцем является Веррес (ведь бывают разные полководцы), дабы при малочисленности храбрых мужей никто не мог забывать о таком полководце. Не вспоминайте ни о предусмотрительности Квinta Максима<sup>20</sup>, ни о быстроте действий знаменитого старшего Публия Африканского, ни о редкой проницательности его преемника<sup>21</sup>, ни об осмотрительности и искусстве Павла, ни о силе натиска и о мужестве Гая Мария. Прошу вас послушать о другом роде военачальников, которых надо с особой тщательностью поощрять и беречь.

(26) Скажем прежде, судьи, несколько слов о трудностях переходов; ведь они в военном деле весьма значительны, а в Сицилии совершенно неизбежны. Послушайте, с каким умом, с какой сообразительностью он облегчил себе эти

труды и сделал их приятными. Прежде всего, в зимнее время он нашел прекрасное средство избавиться от сильных холодов, непогоды и опасностей, связанной с переправой через реки: избрал местом своего постоянного пребывания город Сиракузы, расположение и климат которого таковы, что там, говорят, никогда не бывает таких ненастных и бурных дней, чтобы хоть раз не выглянуло солнце. Здесь-то и проводил зимние месяцы этот доблестный военачальник, причем его нелегко было увидеть не только вне его дома, но и вне его ложа<sup>22</sup>. Короткий день он заполнял попойками, длинную ночь — развратом и гнусностями.

(27) С наступлением весны (о ее начале Веррес судил не по дуновению Фавония<sup>23</sup> и не по появлению того или иного светила; нет, он решал, что наступала весна, увидев розы<sup>24</sup>) он всецело отдавался трудам и разъездам, проявляя при этом такую выносливость и рвение, что никто никогда не видел его едущим верхом. (XI) Как некогда царей Вифинии, так и его восемь человек носили в лектике<sup>25</sup> с подушками, покрытыми прозрачной мелитской тканью и набитыми лепестками роз; один венок был у него на голове, другой был надет на шею, и он подносил к носу сеточку из тончайшей ткани с мелкими отверстиями, наполненную розами. Когда он, таким образом закончив путь, прибывал в какой-либо город, его на той же лектике вносили прямо в спальню. Сюда к нему являлись сицилийские должностные лица, римские всадники, о чем вы слыхали от многих свидетелей, давших присягу. Его тайно знакомили со спорными делами; немного спустя во всеуслышание объявлялись его решения. Затем, уделив в спальне некоторое время правосудию сообразно с платой, а не с требованиями справедливости, он считал, что остальное время принадлежит уже Венере и Либеру<sup>26</sup>. (28) Здесь я, мне кажется, не должен обходить молчанием выдающуюся и редкостную заботливость прославленного военачальника; в Сицилии, знайте это, среди городов, где преторы имеют обыкновение останавливаться и творить суд<sup>27</sup>, нет ни одного, где бы он не выбрал себе в знатной семье женщины, которая должна была удовлетворять его сладострастие. Некоторых из них открыто приводили на пир; более застенчивые приходили к назначенному времени, избегая света и взоров людей. На пиршестве у Верреса не было молчания, обычного во время обедов у преторов и императоров римского народа, не было благопристойности, приличествующей пирам должностных лиц; на нем раздавались громкие крики и брань; иногда дело доходило до потасовки и драки. Ведь Веррес, строгий и добросовестный претор, законам римского народа никогда не повиновавшийся, правил попойки подчинялся весьма добросовестно. Дело кончалось тем, что одного на руках выносили из-за стола, словно с поля битвы, другого оставляли лежать, как мертвеца; многие валялись без сознания и чувств, так что любой человек, взглянув на эту картину, подумал бы, что видит не пир у претора, а Канскую битву распутства<sup>28</sup>.

(XII, 29) В самый же разгар лета, — а это время года преторы Сицилии всегда проводили в разъездах, считая особенно важным надзор за состоянием

провинции тогда, когда хлеб находится на току, так как в эту пору челядь бывает в сборе, рабов легко пересчитать, тяжелый труд вызывает недовольство челяди, обилие хлеба волнует умы, а время года не является помехой, — тогда, повторяю, когда другие преторы постоянно объезжают свои провинции, этот император в новом вкусе разбивал для себя постоянный лагерь в самом красивом месте в Сиракузах. (30) У самого входа в гавань, где берег изгибается в сторону города, он приказывал ставить палатки, крытые тончайшим полотном. Сюда и переезжал он из преторского дома, некогда принадлежавшего царю Гиерону, и в течение этого времени уже никто не видел его нигде в другом месте. Но именно в это место не было доступа никому из тех, кто не мог быть ни участником, ни его пособником в делах сладострастья. Сюда стекались все его сиракузские наложницы, численность которых трудно себе представить; сюда сходились мужчины, достойные его дружбы, достойные чести разделять его образ жизни и пировать вместе с ним; и вот среди таких женщин и мужчин проводил время его сын-подросток, так что даже если бы он, по своим природным склонностям, не был похож на отца, то все же привычка к такому обществу и отцовское воспитание неминуемо сделали бы его подобным отцу. (31) Небезызвестная Терция, обманом и хитростью отнятая у родосского флейтиста и привезенная сюда, говорят, вызвала целую бурю в его лагере: жена сиракузца Клеомена, знатная родом, как и жена Эсхриона, благородного происхождения, были возмущены появлением в их обществе дочери мима Исидора. Но этому Ганнибалу, считавшему, что в его лагере надо состязаться в доблести, а не в родовитости<sup>29</sup>, так полюбилась эта Терция, что он даже увез ее с собой из провинции. (XIII) И все-таки в эти дни, когда Веррес в пурпурном плаще и в тунике до пят<sup>30</sup> пировал в обществе женщин, люди на него не обижались и легко мирились с тем, что на форуме отсутствует должностное лицо, что судебные дела не разбираются и приговоры не выносятся; что на той части берега раздаются женские голоса, пение и музыка, а на форуме царит полное молчание и нет речи о делах и о праве, никого не огорчало. Ибо с форума, казалось, удалились не право и правосудие, а насилие, жестокость и неумолимый и возмутительный грабеж.

(32) И этот человек, по твоему утверждению, Гортенсий, является императором? Его хищения, грабежи, жадность, жестокость, высокомерие, злодеяния, наглость пытаешься ты прикрыть, прославляя его подвиги и заслуги как императора? Вот когда следует опасаться, как бы ты к концу своей защитительной речи не воспользовался тем старым приемом и примером Антония<sup>31</sup>, как бы ты не заставил Верреса встать, обнажить себе грудь и показать римскому народу рубцы от укусов женщин, следы сладострастья и распутства. (33) Дали бы боги, чтобы ты осмелился упомянуть о его военной службе, о войне! Тогда мы узнаем обо всем раннем времени его "службы" и вы поймете, каков он был не только как "начальник", но и как "подначальный". Мы вспомним первое время его службы, когда его попросту уводили с форума, а не торжественно провожали, как он хвалился<sup>32</sup>. Будет назван и лагерь плацентийского игрока, где Верреса, несмотря на его исправность на этой

службе, все же лишали жалования; будут упомянуты многие поражения, понесенные им на этом поприще, которые он полностью покрывал и возмещал себе цветом своей молодости. (34) Затем, когда он закалился и его постыдная выносливость надоела всем, кроме него самого, каким храбрым мужем он стал, сколько твердынь стыда и стыдливости взял он силой и смелостью! Зачем мне говорить об этом и в связи с его гнусными поступками позорить других людей? Не стану я так поступать, судьи! Все прошлое я обойду молчанием. Я только приведу вам два недавних факта, не позорящие никого постороннего и позволяющие вам догадаться обо всех остальных его поступках. Первый из них был известен всем и каждому: ни один житель муниципия, приезжавший в Рим в консульство Луция Лукулла и Марка Котты<sup>33</sup>, дабы предстать перед судом, не был так прост, чтобы не знать, что все судебные решения городского претора зависят от воли и усмотрения жалкой распутницы Хелидоны. Второй факт следующий: после того как Веррес выступил из города Рима в походном плаще, дав обеты за свой империй и за благоденствие всего государства, он несколько раз ради встречи с женщиной, которая была женой одного человека, но принадлежала многим, приказывал носить себя ночью на лектике в Рим, попирая божеское право, авспиции, все заветы богов и людей<sup>34</sup>.

(XIV, 35) О, бессмертные боги! Насколько люди несходны в своих взглядах и помыслах! Пусть мои намерения и надежды на будущее так находят одобрение у вас и у римского народа, как справедливо то, что должностные полномочия, какими римский народ облекал меня до сего времени, я принимал в полном сознании святости всех своих обязанностей! Избранный квестором, я считал, что эта почетная должность мне не просто дана, а вверена и вручена. Будучи квестором в провинции Сицилии, я представлял себе, что глаза всех людей обращены на одного меня, что я в роли квестора выступаю как бы во всемирном театре, что я должен отказывать себе во всех удовольствиях, уж не говорю — в каких-нибудь из ряда вон выходящих страстных желаниях, но и в законных требованиях самой природы. (36) Теперь я избран эдилом; я отдаю себе отчет в том, что мне поручено римским народом; мне предстоит устроить с величайшей тщательностью и торжественностью священные игры в честь Цереры, Либера и Либери; умилостивить в пользу римского народа и плебса матерь Флору блеском игр в ее честь<sup>35</sup>; устроить с величайшим великолепием и благоговением древнейшие игры в честь Юпитера, Юноны и Минервы<sup>36</sup>, игры, первыми названные римскими; мне поручен надзор за храмами и охрана всего города Рима; за эти труды и тревоги мне дана и награда: преимущество при голосовании в сенате<sup>37</sup>, тога-претекста, курульное кресло, право оставить свое изображение потомству на память<sup>38</sup>. (37) Да будут все боги столь благосклонны ко мне, судьи, сколь справедливо то, что как ни приятен мне почет, оказываемый мне народом, он все-таки доставляет мне далеко не столько удовольствия, сколько тревог и труда; так что именно эта должность эдила кажется не по необходимости отданной случайному кандидату, а — ввиду того, что так надлежало, — предоставленной разумно и, по решению народа, доверенной надежному человеку.

(XV, 38) А когда ты — правдами и неправдами — был объявлен претором (оставляю в стороне и не говорю, как это произошло<sup>39</sup>); итак, когда ты, как я сказал, был объявлен избранным, то неужели самый голос глашатая, столько раз сообщавший о голосовании и о том, сколько раз этот почет тебе оказали такая-то младшая и такая-то старшая центурии<sup>40</sup>, не заставил тебя подумать, что тебе вверена важная часть государственных дел и что в течение хотя бы одного того года тебе следует воздержаться от посещений дома распутницы? Когда тебе по жребию досталось творить суд<sup>41</sup>, неужели ты ни разу не представил себе всей важности, всего бремени этой обязанности? Неужели ты — если только мог пробудиться — не отдал себе отчета в том, что эти полномочия, которые трудно выполнять, даже отличаясь исключительной мудростью и неподкупностью, достались в руки величайшей глупости и подлости? И вот, ты не только отказался на время своей претуры выгнать Хелидону из своего дома, но в ее дом перенес всю свою претуру<sup>42</sup>. (39) Затем началось твое наместничество, во время которого тебе ни разу не пришло в голову, что ликторские связки и секиры и столь обширная полнота империя, и все внешние знаки столь высокого положения даны тебе не для того, чтобы ты, пользуясь этой властью и авторитетом, мог сокрушать все преграды, воздвигнутые чувством чести и долгом, и считать имущество всех и каждого своей добычей, не с тем, чтобы ничье имущество не было для себя неприкосновенным, ни один дом — запретным, не с тем, чтобы ничья жизнь не была в безопасности, ничье целомудрие не было запретным для твоих вожделений и наглости; во время наместничества ты вел себя так, что тебе, при неопровергимости всех улик, только и остается ссылаться на войну с беглыми рабами, которая, как тебе уже ясно, не только не послужила тебе защитой, но и придала величайшую силу обвинениям, выставленным против тебя; разве только ты, быть может, упомянешь о последней вспышке войны беглых рабов в Италии и о беспорядках в Темпсе<sup>43</sup>; как только они произошли, судьба привела тебя туда; для тебя это было бы величайшей удачей, если бы в тебе нашлась хоть капля мужества и стойкости; но ты оказался тем же, кем был всегда. (XVI, 40) Когда к тебе явились жители Валенции<sup>44</sup>, и красноречивый и знатный Марк Марий стал от их имени просить тебя, чтобы ты, облеченный империем и званием претора, взял на себя начальствование и руководство для уничтожения той небольшой шайки, ты от этого уклонился; более того, в то самое время, когда ты был на берегу, твоя небезызвестная Терция, которую ты с собой везде возил, была у всех на виду. Кроме того, ты, давая по такому важному делу ответ представителям Валенции, такого знаменитого и известного муниципия, был одет в темную тунику и плащ.

Как вы думаете, каково было его поведение на пути в Сицилию и в самой провинции, если он во время возвращения в Рим (где его ожидал не триумф<sup>45</sup>, а суд) не избежал даже того срама, каким он себя покрыл, не получая при этом никакого удовольствия? (41) О, внушенный богами ропот сената, в полном составе собравшегося в храме Беллоны<sup>46</sup>. Как вы помните, судьи, уже смеркалось; незадолго до того было получено известие о волнениях в Темпсе; человека, облеченного империем, которого можно было бы туда послать, не

находили; тогда кто-то сказал, что невдалеке от Темпсы находится Веррес. Каким всеобщим ропотом встретили это предложение, как открыто первоприсутствующие сенаторы против этого возражали! И человек, изобличенный столькими обвинениями и свидетельскими показаниями, возлагает какую-то надежду на то, что за него будут голосовать люди, которые все, еще до расследования дела, во всеуслышание единогласно вынесли ему обвинительный приговор?

(XVII, 42) Пусть это так, скажут нам; в той действительной или ожидавшейся войне с беглыми рабами Веррес не приобрел славы, так как ни такой войны, ни угрозы ее в Сицилии не было, и он на этот случай не принимал мер предосторожности. Но вот, против нападений морских разбойников он на самом деле содержал снаряженный флот, проявил исключительную заботливость и в этом отношении прекрасно защитил провинцию. Переходя к вопросу о военных действиях морских разбойников и о сицилийском флоте, судьи, я уже заранее утверждаю, что в одной этой области деятельности Верреса и проявились все его величайшие преступления: алчность, превышение власти<sup>47</sup>, безрассудные действия, произвол, жестокость. Прошу вас выслушать мой краткий рассказ с таким же вниманием, какое вы мне уделяли до сего времени.

(43) Прежде всего я утверждаю, что делами флота он занимался, имея в виду не оборону провинции, а стяжание денег под предлогом постройки кораблей. В то время как прежние преторы обыкновенно требовали от городских общин предоставления кораблей и определенного числа матросов и солдат, ты и не подумал о том, чтобы потребовать чего бы то ни было от самой значительной, богатейшей мамертинской городской общины<sup>48</sup>. Сколько мамертинцы тайно заплатили тебе за это, мы впоследствии, в случае надобности, из их книг и от свидетелей узнаем. (44) Что огромная кибея, величиной с трирему<sup>49</sup> (великолепная и прекрасно снаряженная кибея), на глазах у всех построенная для тебя за счет города, о чем знала вся Сицилия, была подарена тебе местными властями и сенатом Мессаны, я утверждаю. Корабль этот, нагруженный сицилийской добычей и сам составлявший часть этой добычи, ко времени отъезда Верреса прибыл в Велию<sup>50</sup> с многочисленными ценностями и притом с такими, которые он не хотел посыпать в Рим вместе с другими украденными им предметами, так как они стоили дорого и особенно нравились ему. Это судно, великолепное и прекрасно снаряженное, я сам недавно видел в Велии, судьи, и его видели многие другие; но всем, смотревшим на него, казалось, что оно уже предвидит свое изгнание и высматривает путь для бегства своего хозяина.

(XVIII, 45) Что ты ответишь мне на это? Разве только то, что неизбежно приходится говорить в суде по делу о вымогательстве, хотя этот довод никак не может быть признан удовлетворительным, — корабль был построен на твои деньги. Посмей только так ответить, хотя это и неизбежно. Не бойся, Горценций, я не стану спрашивать, по какому праву сенатор построил для себя корабль<sup>51</sup>. Законы, запрещающие это, — старые и отжившие, как ты выражаяешься. Некогда

положение в нашем государстве было таково, строгость в судах была такова, что обвинитель считал нужным относить эти проступки к тяжким преступлениям. В самом деле, зачем тебе понадобился корабль? Ведь если бы ты поехал куда-нибудь по делам государственным, тебе предоставили бы корабли на казенный счет и для твоей охраны и для переезда, а как частное лицо ты не можешь ни разъезжать, ни отправлять предметы морем из тех мест, где тебе нельзя иметь собственность. (46) Затем, почему ты, в нарушение законов, вообще приобрел собственность? Такое обвинение имело бы значение в государстве в те давние, суровые и преисполненные достоинства времена; теперь же я не только не обвиняю тебя в этом преступлении, но даже не порицаю тебя с общепринятой точки зрения. Однако неужели ты никогда не подумал о том, что это будет для тебя позором, преступлением, навлечет на тебя ненависть — постройка грузового корабля на глазах у всех в самом людном месте провинции, которой ты управляешь, обладая империем? Что, по твоему мнению, должны были говорить те, кто это видел? Что должны были подумать те, кто об этом слышал? Что ты отправишь в Италию корабль без груза? Что ты по приезде в Рим намерен стать судовладельцем? Ни у кого не могло появиться даже предположения, будто у тебя в Италии есть приморское имение и ты для перевозки урожая обзаводишься грузовым судном. Тебе, должно быть, было угодно, чтобы всюду открыто пошли толки, будто ты готовишь себе корабль для вывоза своей добычи из Сицилии и доставки тебе похищенных предметов, остававшихся в провинции?

(47) И все же, если ты докажешь, что корабль был построен на твой счет, я готов оставить все это в стороне и простить тебе. Но неужели ты, безрассуднейший человек, не понимаешь, что эти самые мамертинцы, представили за тебя, при первом слушании дела лишили тебя возможности такого оправдания? Ибо Гей, глава посольства, присланного с хвалебным отзывом о тебе<sup>52</sup>, сказал, что корабль для тебя строили рабочие за счет города Мессаны и постройкой, по поручению города, ведал мамертинский сенатор. Остается вопрос о строительном материале; его ты официально потребовал у жителей Регия, как они сами заявляют<sup>53</sup>; ведь у мамертинцев леса не было; впрочем, ты и сам не можешь это отрицать.

(XIX) Но если и материалы для постройки корабля и рабочую силу ты потребовал, а не оплатил, где же скрыто то, за что ты, по твоим словам, платил сам? (48) В книгах мамертинцев, скажут нам, об этом ничего нет. И действительно, они из своей казны, может быть, ничего и не давали. Могли ведь наши предки выстроить и отдалить Капитолий даром, призвав мастеров и собрав рабочих от имени государства. Затем, как я догадываюсь и как я докажу на основании книг мамертинцев, когда вызову для допроса их самих, большие суммы денег, испрошенные для Верреса на оплату работ, записаны под вымышленными статьями. Нет ничего удивительного, если мамертинцы пощадили в своих записях гражданскую честь своего величайшего благодетеля, который, как они убедились на опыте, был им большим другом, нежели

римскому народу. Но если отсутствие соответствующих записей доказывает, что мамертинцы не давали тебе денег, то невозможность для тебя предъявить записи о покупке или о подряде должна служить доказательством того, что корабль построен для тебя даром.

(49) Но, скажут нам, ты потому и не стал требовать от мамертинцев постройки корабля, что это союзная городская община. Да одобрят это боги! Нашелся достойный ученик фециалов<sup>54</sup>, строжайший и внимательнейший блюститель священных обязанностей, налагаемых на государства договорами. Следует головой выдать мамертинцам всех преторов, бывших до тебя, так как они требовали от них поставки кораблей в нарушение условий договора. Но как же ты, неподкупный и добросовестный человек, потребовал корабль от Тавромения, также союзного города? Правдоподобно ли, чтобы без взятки, при одинаковом положении жителей, их права оказались столь различными, а отношение к ним — столь несходным? (50) А если я докажу, судьи, что на основании двух договоров, заключенных с двумя городами, именно Тавромений совершенно освобожден от повинности предоставлять корабль, Мессане же самим договором строго предписано поставить корабль, а между тем Веррес, нарушая договор, потребовал корабль от жителей Тавромения и освободил мамертинцев от этой поставки? Сможет ли у кого-либо возникнуть сомнение, что время его претуры кибя мамертинцев помогла им больше, чем жителям Тавромения заключенный договор? Пусть прочтут текст договора.

(XX) Таким образом, этим своим, как ты хвалишься, благодеянием или, как показывают факты, взяткой и сделкой ты умалил величие римского народа, уменьшил вспомогательные военные силы государства, уменьшил средства, добытые мужеством и мудростью наших предков, нарушил права нашей державы и условия, установленные для наших союзников, попрал уважение к заключенному с ними договору. Те, которые в силу самого договора должны были отправить нам корабль, вооруженный и снаряженный на их счет и страх, хотя бы до самого Океана, если бы мы этого потребовали, откупились данной тебе взяткой от выполнения своих договорных обязательств и от условий, вытекающих из их подчинения нашей державе, откупились даже от обязанностей плавать в проливе, у самого порога своих домов, защищая свои стены и гавани. (51) Как вы думаете, сколько труда, сколько хлопот, сколько денежных жертв согласились бы взять на себя мамертинцы при заключении этого договора, если бы они каким-либо способом могли добиться от наших предков, чтобы их не обязывали давать эту бирему? Ибо столь тяжелая повинность, возложенная на городскую общину, накладывала на союзный договор, так сказать, клеймо порабощения. Итак, той льготы, которой мамертинцы не смогли добиться от наших предков на основании договора в те времена, когда их заслуги еще были свежи в нашей памяти<sup>55</sup>, когда наши правовые отношения с ними еще не были упорядочены, когда римский народ не испытывал затруднений, они, не оставив нам никаких новых услуг, [через столько лет, в течение которых это обязательство, по праву нашего империя,] из года в год соблюдалось и всегда

выполнялось, теперь, при нынешней необычайной нехватке кораблей, добились от Верреса за деньги; при этом они не только освободились от повинности давать нам корабль. Дали ли мамертинцы, на протяжении трех лет твоей претуры, хотя бы одного матроса или солдата? (XXI, 52) Наконец, хотя, на основании постановления сената<sup>56</sup>, а также Теренциева и Кассиева закона<sup>57</sup>, надо было по равномерной разверстке покупать хлеб у всех городских общин Сицилии, ты даже от этой легкой и общей для всех повинности освободил мамертинцев. Они, скажешь ты, не обязаны давать хлеб. Почему же они не обязаны? Не обязаны продавать его? Ведь этого хлеба у них не взимали даром; его покупали. Итак, по твоему мнению и толкованию, мамертинцы не должны были помогать римскому народу даже путем продажи хлеба на рынке. (53). Но в таком случае, какая же община была обязана это делать? Обязательства тех, кто возделывает земли, принадлежащие казне, определяются постановлением цензора<sup>58</sup>. Почему же ты потребовал от них новых поставок? А общины, платящие десятину? Разве они обязаны, в силу Гиеронова закона<sup>59</sup>, давать сколько-нибудь, сверх десятины? Почему ты и им указал, сколько покупного хлеба они обязаны давать? А общины, свободные от повинностей? Они, конечно, ничего не обязаны давать. Между тем ты не только приказал им доставить хлеб, но даже — для того, чтобы они давали больше, чем могли дать, — прибавил к их доле те 60 000 модиев в год, от поставки которых ты освободил мамертинцев. Но я сейчас говорю не о том, что ты незаконно потребовал хлеб от других городов; я утверждаю, что находившимся в таком же положении мамертинцам, от которых все твои предшественники требовали хлеб на таких же условиях, как и от других общин, и которым они платили за него деньги на основании постановления сената и закона<sup>60</sup>, ты предоставил льготу незаконно. А для того, чтобы благодеяние это, как говорится, плотничьим гвоздем прибить<sup>61</sup>, Веррес вместе со своим советом разобрал дело мамертинцев и, на основании решения совета, объявил, что от мамертинцев он хлеба не требует.

(54) Слушайте указ продажного претора, взятый из его собственных записей; обратите внимание на торжественность его языка, на его авторитет, с каким он определяет права. Читай. [Записи.] На основании решения совета он, по его словам, "охотно делает это"; так и записано. А если бы ты не употребил слова "охотно"? Право, мы бы подумали, что ты берешь взятки нехотя. И это "на основании решения совета"! Вы, судьи, слышали имена членов этого славного совета. Что вы подумали, слыша эти имена? Кого называют вам — состав ли преторского совета или же товарищей и спутников отъявленного разбойника? (55) Вот они, толкователи договоров, учредители товарищества<sup>62</sup>, блюстители религиозных запретов! Никогда еще, при покупке в Сицилии хлеба казной, мамертинцев не освобождали от поставки их доли — до той поры, пока Веррес не образовал своего славного совета из избранных им людей, чтобы получать от мамертинцев деньги и оставаться верным себе. Поэтому его указ имел такую силу, какую и должен был иметь указ человека, продавшего свой указ тем, у кого он должен был покупать хлеб. Ибо Луций Метелл, как только сменил Верреса, тотчас же, на основании записанных постановлений Гая Сацердота<sup>63</sup> и Секста

Педуцея<sup>64</sup>, потребовал от мамертинцев поставки хлеба. (XXII, 56) Тогда-то они и поняли, что им не удастся дольше пользоваться тем, что они купили у человека, на эту продажу не уполномоченного.

Далее, почему ты, который хотел прослыть таким добросовестным толкователем договоров, потребовал хлеб от жителей Тавромения, от жителей Нета, когда обе эти городские общины являются союзными? При этом жители Нета не преминули защитить свои интересы и, как только ты объявил, что охотно предоставляешь льготу мамертинцам, явились к тебе и объяснили, что они, в силу союзного договора, находятся в таких же условиях. Решить одинаковое дело по-разному ты не мог; ты постановил, что жители Нета не должны доставлять хлеб, и все же взыскал его с них. Подай мне книги нашего претора: книгу его указов и роспись истребованного им хлеба. [Указы претора Гая Верреса.] Что другое можем мы предположить, судьи, в связи со столь грубым и столь позорным непостоянством, как не то, что само собой напрашивается: либо жители Нета не дали ему денег, каких он требовал, либо он постарался, чтобы мамертинцы поняли, что они удачно поместили у него такие большие деньги и сделали ему подарки, коль скоро другие, заявляя такие же притязания, такой же льготы от него не получили.

(57) И после этого он еще осмелится толковать мне о хвалебном отзыве мамертинцев? Да есть ли среди вас, судьи, хотя бы один человек, который бы не понимал, как много в этом отзыве слабых сторон? Во-первых, тому, кто не в состоянии привести в суд десятерых представителей<sup>65</sup>, лучше не приводить ни одного, чем не набрать этого, можно сказать, узаконенного обычаем числа. В Сицилии так много городских общин, которыми ты управлял в течение трех лет: большинство из них тебя обвиняет, несколько общин, незначительных и запуганных, молчат; одна тебя восхваляет. О чем это говорит, как не о том, что ты сам понимаешь, какова польза от истинного хвалебного отзыва? Но ты так управлял провинцией, что воспользоваться им ты никак не сможешь. (58) Затем (я уже говорил это в другом месте<sup>66</sup>), какова, наконец, ценность этого хвалебного отзыва, когда представители городских общин и главы этих представителей<sup>67</sup> заявили, что за счет города для тебя был построен корабль, а они сами как частные лица были ограблены тобой и обобраны? Наконец, раз они, одни во всей Сицилии, тебя хвалят, то что делают они, как не свидетельствуют нам, что все, столь щедро дарованное тобой им, ты отнял у нашего государства? Какая колония<sup>68</sup> в Италии находится в столь благоприятном правовом положении, какой муниципий столь свободен от повинностей<sup>69</sup>, что пользовался в течение последних лет такими большими льготами во всех отношениях, какими пользовалась мамертинская городская община? На протяжении трех лет лишь она одна не дала того, что должна была давать в силу союзного договора; она одна, во время претурсы Верреса, была свободна от всех повинностей; она одна, под его империем, была в особом положении, римскому народу не давая ничего, а Верресу ни в чем не отказывая.

(XXIII, 59) Но вернемся к вопросу о флоте, о чем я начал было говорить; ты получил от мамертинцев корабль незаконно; ты, нарушая договоры, предоставил им льготу. Таким образом, по отношению к одной и той же городской общине ты был бесчестен дважды: когда ты предоставлял ей льготу, какой не следовало предоставлять, и когда ты принял от нее то, чего нельзя было принимать. Ты должен был потребовать корабль для борьбы против морских разбойников, а не для перевозки плодов разбоя, для защиты провинции от ограбления, а не для доставки добра из ограбленной провинции. Мамертинцы предоставили в твоё распоряжение и свой город, чтобы ты отовсюду свозил в него краденое добро, и корабль, чтобы ты вывозил его на нем; этот город был для тебя складом добычи; эти люди — свидетелями и укрывателями краденого; они подготовили тебе место для хранения краденого и средства для вывоза его. Поэтому, даже тогда, когда ты из-за своей алчности и подлости потерял флот<sup>70</sup>, ты не осмелился потребовать корабль у мамертинцев, хотя в то время, при таком недостатке кораблей и при столь бедственном положении провинции — даже если бы мамертинцев пришлось об этом просить, как об одолжении, — все же надо было получить у них корабль. Ведь и твою решимость требовать и твои попытки просить корабль останавливалась мысль не о том прекрасном корабле — не о бирeme, поставленной римскому народу, а о кибее, подаренной претору. Это была плата за твой империй, за освобождение от обязанности оказывать помощь, за твой отказ от своего права, от обычая и от требований союзного договора.

(60) Вот как была потеряна, вернее, продана за деньги крепкая опора в лице одной из городских общин. Послушайте теперь о новом способе грабежа, впервые придуманном Верресом. (XXIV) Каждая городская община предоставляла в распоряжение своего наварха<sup>71</sup> все необходимое для содержания флота: хлеб, жалование и все остальное. А наварх не мог совершить ничего такого, в чем матросы могли бы его обвинить, и, кроме того, он должен был отчитываться перед своими согражданами; при исполнении им своих обязанностей наварх не только прилагал свой труд, но также и нес ответственность за все. Так, говорю я, делалось всегда и не только в Сицилии, но также и во всех провинциях; того же порядка держались относительно жалования и расходов на содержание войск союзников и латинян — тогда, когда мы пользовались их вспомогательными силами<sup>72</sup>. Веррес, первый после установления нашего владычества, приказал всем городским общинам выплачивать эти деньги ему — с тем, чтобы ими распоряжался тот, кому он сам это поручит. (61) Возможны ли сомнения, почему ты первый изменил общепринятый старый порядок, пренебрег таким большим преимуществом, что деньги поступают в распоряжение других людей, и почему ты взял на себя такую трудную задачу, которая может повлечь за собой обвинения, и бремя, порождающее подозрения? Затем были созданы также и другие статьи дохода. Смотрите, как много их в одном только морском деле: брать деньги с городских общин за освобождение их от повинности давать матросов; за определенную плату отпускать матросов; все жалование, причитающееся отпущенными, присваивать себе; остальным положенного не платить. Ознакомьтесь со всем

этим на основании свидетельских показаний городских общин. Читай.  
[Свидетельские показания городских общин.]

(XXV, 62) Нет, каков негодяй! Каково его бесстыдство, судьи! Какова его наглость! Назначить городским общинам денежные взносы в соответствии с числом солдат; установить определенную плату за увольнение матросов в отпуск<sup>73</sup> — по шестисот сестерциев с каждого! Всякий, кто давал их ему, незаконно получал отпуск на все лето, а Веррес брал себе все деньги, полученные для уплаты жалования этому матросу и на содержание его. Так он получал двойную выгоду от предоставления отпуска одному человеку. И он, в своем безрассудстве, при таких дерзких набегах морских разбойников и при таком опасном положении провинции, действовал настолько открыто, что это знали даже разбойники, а вся провинция была этому свидетельницей.

(63) В то время, когда, вследствие алчности Верреса, флот существовал в Сицилии только по названию, а в действительности это были пустые корабли, пригодные для того, чтобы возить претору награбленное им добро, а не внушать страх грабителям, все же Публий Цесеций и Публий Тадий<sup>74</sup>, плавая во главе отряда из десяти кораблей, лишенных половины экипажа, не столько захватили, сколько увеличили корабль пиратов с богатой добычей, можно сказать, обреченный либо на то, чтобы попасть в чужие руки, либо на то, чтобы пойти ко дну вследствие тяжести груза. На этом корабле было много очень красивых молодых людей, большое количество серебра в изделиях и в виде монеты, а также много ковров. Это — единственный корабль, который, собственно говоря, был не захвачен, а найден нашим флотом под Мегаридой, невдалеке от Сиракуз. Как только Верреса известили об этом, он, хотя и лежал на берегу пьяный в обществе своих наложниц, все-таки собрался с силами и тотчас же послал своим квестору и легату многочисленную стражу, чтобы ему доставили всю добычу в целости и притом возможно скорее. (64) Корабль привели в Сиракузы. Все ждали казни пленников. Но Веррес, словно ему попала в руки добыча, а не были захвачены разбойники, признал врагами<sup>75</sup> только стариков и уродливых пленников; остальных же, покрасивее, помоложе, обученных каким-либо искусствам, он всех взял себе; нескольких человек роздал своим писцам, сыну и когорте; шестерых певцов и музыкантов послал в Рим, в подарок одному из своих приятелей. Вся следующая ночь ушла на разгрузку корабля. Самого архипирата, подлежавшего казни, никто не видел. Все и по сей день думают (что можно ожидать от Верреса, вы сами должны догадаться), что он за освобождение этого архипирата тайно получил от пиратов деньги. (XXVI, 65) — "Это — только догадка". — Никто не может быть хорошим судьей, если не руководствуется хорошо обоснованным подозрением. Вы знаете Верреса; вам известно обыкновение всех тех, кто берет в плен главаря разбойников или врагов, — как охотно позволяют они выставить его всем напоказ. Из всего многочисленного сиракузского конвента, судьи, я не встречал ни одного человека, который бы сказал, что видел взятого в плен архипирата, хотя все, по обычаю, как это водится, сбежались, расспрашивали о нем и желали его увидеть. По какой же

причине этого человека скрывали так тщательно, что на него даже случайно никому не удалось взглянуть? Несмотря на то, что жившие в Сиракузах моряки, часто слышавшие имя этого главаря и не раз испытывавшие страх перед ним, хотели воочию увидеть его казнь, и насладиться видом его мучений, все же никому из них не дали возможности взглянуть на него.

(66) Публий Сервилий<sup>76</sup> один захватил живыми больше главарей морских разбойников, чем все его предшественники. Было ли когда-нибудь кому бы то ни было отказано в разрешении и удовольствии взглянуть на пирата, взятого им в плен? Напротив, где бы ни проходил его путь, он всем доставлял это приятное зрелище — вид связанных врагов, взятых в плен. Поэтому зрители стекались отовсюду, причем ради того, чтобы взглянуть на пленных, собирались не только население тех городов, через которые их вели, но и жители всех соседних городов. А самый триумф Сервилия? Почему он был для римского народа самым приятным и радостным из всех триумфов? Ведь нет [ничего более сладостного, чем победа; но нет] более убедительного свидетельства о победе, чем возможность видеть, как связанными ведут на казнь тех, кто так часто внушал людям страх. (67) Почему ты не сделал этого, почему ты так спрятал архипицата как будто взглянуть на него было бы кощунством? Почему ты не казнил его? По какой причине ты сохранил ему жизнь? Знаешь ли ты хотя бы одного архипицата, взятого в прошлом в плен и не обезглавленного? Назови мне хотя бы одного человека, на которого ты мог бы сослаться, представь мне хотя бы один такой пример. Ты сохранил жизнь архипицату. С какой целью? Ну, разумеется, для того, чтобы он во время триумфа шел перед твоей колесницей. В самом деле, единственное, что оставалось сделать, это — чтобы тебе, после того как ты потерял превосходный флот римского народа и разорил провинцию, назначили морской триумф<sup>77</sup>.

(XXVII, 68) Но продолжим; он предпочел, в виде новшества, держать главаря морских разбойников под стражей вместо того, чтобы обезглавить его, как все обычно поступали. В руках каких стражей был он и как его охраняли? Все вы слыхали о сиракузских каменоломнях; многие из вас знают их; это огромное и величественное создание царей и тираннов<sup>78</sup>; все они вырублены в скале на необычайную глубину, для чего потребовался труд многочисленных рабочих. Невозможно ни устроить, ни даже представить себе тюрьму, которая в такой степени исключала бы возможность побега, была бы так хорошо ограждена со всех сторон и столь надежна. В эти каменоломни даже и из других городов Сицилии по приказу доставляют государственных преступников для содержания под стражей. (69) Так как Веррес ранее бросил туда многих узников из числа римских граждан, так как он приказал заключить туда же других пиратов, он понял, что если он заточит в ту же тюрьму подставное лицо, которым он хотел заменить архипицата, то многие люди будут разыскивать в каменоломнях настоящего предводителя пиратов. Поэтому он и не решился доверить его этой наилучшей и надежнейшей тюрьме; наконец, он побаивался Сиракуз вообще. Он отоспал его — куда? Быть может, в Лилибей? Это я понял бы; но он все же

побаивался жителей побережья. Нет, судьи, не туда. Тогда в Панорм? Это, пожалуй, было возможно. Впрочем, пирата, захваченного в сиракузских водах, надо было если не казнить, то, во всяком случае, содержать под стражей именно в Сиракузах. (70) Нет, даже не в Панорм. Куда же? А куда бы вы думали? К людям, совершенно не знавшим страха перед пиратами и не имевшим представления о них, совершенно не знакомым с мореплаванием и с морским делом, — к центурипинцам, живущим в самой середине острова, превосходным земледельцам, которые никогда не боялись даже имени морского разбойника и, во время твоей претуры, страшились одного только Апрония, архипирата на суще<sup>79</sup>. А чтобы всякий легко мог понять, что Веррес сделал это для того, чтобы подставному архипирату было и легко и приятно разыгрывать роль того, кем он в действительности не был, он и велел жителям Центурип быть возможно более щедрыми и не отказывать ему ни в хорошей пище, ни в других удобствах.

(XXVIII, 71) Тем временем жители Сиракуз, люди опытные и догадливые, способные не только видеть то, что у них на глазах, но и подозревать то, что от них скрывают, изо дня в день вели счет пиратам, которых казнили. Сколько их должно было быть, они заключали на основании размеров захваченного корабля и числа его весел. Уведя к себе всех пиратов, которые были обучены чему-либо или красивы, Веррес думал, что если он, согласно обычаю, велит привязать к столбам всех остальных одновременно, то народ поднимет крик, так как число людей, уведенных им к себе, намного превышало число оставленных. Хотя он из этих соображений и решил выводить их на казнь в разное время, все же при таком большом населении не было человека, который бы не вел точного счета пленникам и не только не замечал их недостачи, но и со всей настоятельностью не требовал их голов.

(72) Так как недоставало большого числа пленных, то этот нечестивец начал заменять пиратов, взятых им себе, римскими гражданами, ранее брошенными им в тюрьму; одних римских граждан он выдавал за бывших солдат Сертория и говорил, что они бежали из Испании и высадились в Сицилии<sup>80</sup>; других, захваченных морскими разбойниками во время поездок по морю по торговым или другим делам, он обвинял в добровольном соглашении с пиратами. Поэтому одних римских граждан влекли из тюрьмы к столбам и на казнь, закутав им головы<sup>81</sup>, чтобы не было возможности их опознать; другим, хотя многие римские граждане опознавали и все защищали их, тем не менее отрубали головы. Об их ужасной смерти и жестоких мучениях я буду говорить в свое время, когда стану обсуждать этот вопрос, причем если меня, во время этих сетований на жестокость Верреса и на совершенно не подобающую римским гражданам смерть, оставят не только силы, но и жизнь, то я сочту это славным и сладостным концом для себя. (73) Итак, вот в чем воинский подвиг Верреса, вот в чем его славная победа: после захвата миопарона<sup>82</sup> пиратов их главарь был освобожден, музыканты отправлены в Рим, красивые, молодые и обученные искусствам люди уведены в дом претора; вместо них, в таком же числе, распяты

и казнены римские граждане, словно это были враги; все ткани были забраны, все золото и серебро забрано и похищено.

(XXIX) А как запутался Веррес при первом слушании дела! После того как он молчал в течение стольких дней, он вдруг, после свидетельских показаний весьма выдающегося человека, Марка Анния<sup>83</sup>, заявившего, что римскому гражданину отрубили голову, а архипират казнен не был, вскочил со своего места, возбужденный сознанием своего преступления и безумием, вызванным его злодеянием<sup>84</sup>, и сказал: предвидя обвинения в том, что он взял деньги и не казнил настоящего архипирата, он потому и не отрубил ему головы; у него в доме, сказал он, находятся двое архипиратов.

(74) О, милосердие или, вернее, удивительное и редкостное долготерпение римского народа! Римский всадник Марк Анний говорит, что римскому гражданину отрубили голову; ты молчишь; он же говорит, что архипират не был казнен; ты это признаешь. Поднимается всеобщий ропот, раздаются крики, и все-таки римский народ сдерживает свой гнев и не подвергает тебя немедленной казни, а заботу о своем благе поручает строгости судей. Как? Ты знал, что тебя обвинят во всем этом? Как же мог ты знать это или как могло у тебя возникнуть такое подозрение? Личных врагов у тебя не было; но, если бы они даже и были, все же ты, как мы видим, вел такой образ жизни, что, видимо, не очень боялся, что тебя рано или поздно привлекут к суду. Или нечистая совесть, как это бывает, сделала тебя трусливым и подозрительным? Но если ты страшился обвинения и суда даже тогда, когда обладал империем, то как можешь ты сомневаться, что тебе теперь, когда ты изобличен показаниями стольких свидетелей, вынесут обвинительный приговор? (75) Но если ты боялся обвинения в том, что ты вместо архипирата подверг казни подставное лицо, то какое же из двух средств защиты счел ты более верным в будущем — представить ли через долгий срок, во время суда, по моему требованию и настоящию, людям, незнакомым с делом, какого-то человека, которого ты назовешь архипиратом, или казнить его на месте, в Сиракузах, среди знающих его людей, на глазах чуть ли не у всей Сицилии?

Вот какая разница между тем и другим, теперь ты видишь, что тебе следовало делать: в последнем случае [никаких оснований для упреков тебе не было бы, а в данном случае никакой возможности оправдаться нет.] Поэтому все всегда прибегали ко второму образу действий. А кто, до тебя, прибегал к первому; кто, помимо тебя, поступал так, хочу я знать. Ты сохранил пирату жизнь. До какого времени? Пока ты обладал империем. На каком основании, по чьему примеру, почему так долго? Почему, повторяю, ты, тотчас же обезглавив римских граждан, взятых в плен пиратами, позволил самим пиратам так долго смотреть на солнечный свет? (76) Но пусть будет по-твоему. Допустим, что ты был волен в своих действиях в течение всего того времени, пока обладал империем. Но как же ты, уже будучи частным лицом, уже будучи обвинен, уже, можно сказать, будучи почти осужден, решился содержать предводителя врагов в частном

доме?<sup>85</sup> Один, два месяца, наконец, почти год с того времени, как они попали в плен, пираты находились в твоем доме, пока этого не пресек я, вернее, Маний Глабрион, который, по моему требованию, приказал забрать их оттуда и заключить в тюрьму.

(XXX) Какое имел ты право на это, что это за обычай, имеются ли подобные примеры? Какое частное лицо, когда бы то ни было могло держать в стенах Рима, у себя в доме, жесточайшего и заклятого врага римского народа, вернее, общего врага всех племен и народов? (77) Ну, а если бы накануне того дня, когда я тебя заставил сознаться, что после казни римских граждан главарь разбойников остался жив и находился под твоим кровом; повторяю, если бы он накануне того дня бежал из твоего дома, если бы ему удалось набрать шайку разбойников для действий против государства, — что сказал бы ты? — "Он жил у меня в доме, он общался со мной; я, имея в виду свое судебное дело — чтобы мне было легче опровергать обвинения, предъявленные мне моими недругами, — сохранил его живым и невредимым". — Не так ли? Ты хочешь отвратить опасность от себя ценой опасности для всех? Время для казни, которой подлежат побежденные враги, ты выберешь, когда это будет выгодно тебе, а не государству? Враг римского народа будет находиться под стражей в доме частного лица? Но даже те, кто справляют триумф и для этого дольше обычного сохраняет жизнь военачальникам врагов, дабы их шествием во время триумфа доставить римскому народу великолепное зрелище и показать ему плоды одержанной победы, все же, когда колесницы начинают поворачивать с форума в сторону Капитолия, даже они приказывают отвести вражеских военачальников в тюрьму, и один и тот же день оказывается последним и для империя победителей и для жизни побежденных.<sup>86</sup>.

(78) И теперь кое у кого, конечно, возникают сомнения, что ты (тем более в ожидании суда, по твоим словам, предстоявшего тебе) мог совершить этот промах: вместо того, чтобы архипицата казнить, ты, с явной опасностью для себя, оставил его в живых. В самом деле, а если бы он умер, то как, скажи мне, ты, по твоим словам, боявшийся обвинения, убедил бы в этом кого бы то ни было? Раз установлено, что ни один человек в Сиракузах не видел архипицата, хотя все желали его видеть; раз никто не сомневался, что ты освободил его за деньги; раз всюду говорили о замене его другим человеком, которого ты хотел выдать за него; раз ты сам признался, что ты уже давно боялся этого обвинения, скажи, кто стал бы тебя слушать, если бы ты объявил о его смерти? (79) Теперь, когда ты нам показываешь какого-то незнакомого нам человека, ты видишь, что над тобой все же смеются. А если бы он бежал, если бы он разбил оковы, как тот знаменитый пират Никон, которого Публий Сервилий вторично взял в плен так же удачно, как и в первый раз, что сказал бы ты? Но дело обстояло вот как: если бы в один прекрасный день тот настоящий пират был обезглавлен, ты не получил бы денег; если бы этот мнимый умер или бежал, не представило бы труда заменить одно подставное лицо другим. Я говорил об этом архипицате дольше, чем хотел, и все же самых убедительных доказательств по этой статье

обвинения не привел. Ибо я хочу оставить всю эту статью обвинения неисчерпанной; есть определенное место, определенный закон, определенный трибунал, ведению которого она подлежит<sup>87</sup>.

(XXXI, 80) Поживившись столь крупной добычей — рабами, серебряной утварью, тканями, — Веррес, однако, не стал более заботливо относиться ни к снаряжению флота, ни к созыву уволенных в отпуск солдат, ни к снабжению их продовольствием, хотя эти меры могли доставить не только покой провинции, но и добычу ему самому. Ибо в самый разгар лета, когда другие преторы обычно обезжают провинцию, посещая ее области, или даже, ввиду такой сильной угрозы со стороны морских разбойников, сами выходят в море, в это время Веррес, в погоне за утехами и любовными наслаждениями, не удовольствовался пребыванием в своем царском доме [это был дом царя Гиерона, и в нем жили преторы] и, следуя своим привычкам летнего времени, о чём я уже рассказывал, велел раскинуть полотняные палатки на берегу сиракузского Острова, за ручьем Аретусой, у самого входа в гавань, в очень приятном месте, укрытом от посторонних взоров.

(81) Здесь претор римского народа, охранитель и защитник провинции, проводил летние дни, предаваясь попойкам с женщинами, причем из мужчин возлежал только он и его сын, носящий претексту (впрочем, я был бы вправе, не делая исключений, сказать, что там не было ни одного мужчины, так как были только они двое); иногда допускали также вольноотпущенника Тимархида; что касается женщин, то многие из них были замужними, из знатных семей, кроме одной — дочери мима Исидора, которую Веррес, влюбившись, увез у родосского флейтиста. Там бывала некая Пипа, жена сиракузянина Эсхриона; о страсти Верреса к этой женщине по всей Сицилии распространено множество стихов.  
 (82) Там бывала Ника, как говорят, женщина необыкновенной красоты, жена сиракузянина Клеомена. Муж любил ее, но противиться страсти Верреса не мог, да и не осмеливался; к тому же тот привлекал его к себе многочисленными подарками и милостями. Но в то время Веррес, при всем своем бесстыдстве, известном нам, все же не мог, когда ее муж был в Сиракузах, без всяких стеснений проводить с его женой столько дней на морском берегу. Поэтому он придумал единственную в своем роде уловку — корабли, над которыми начальствовал легат, он передал Клеомену. Над флотом римского народа он приказал начальствовать сиракузянину Клеомену. Целью его было — чтобы Клеомен не просто отсутствовал во время своих выходов в море, но уезжал охотно, так как ему оказаны великая честь и милость, а чтобы сам Веррес, избавившись от присутствия мужа и отправив его подальше, мог не отпускать от себя его жены; Верресу это не то, чтобы развязывало руки (в самом деле, кто был когда-либо помехой его похоти?), но, по крайней мере, он мог меньше стесняться, если удалит человека, бывшего, не мужем, а как бы соперником.

(83) И вот принимает под свое начало корабли наших союзников и друзей сиракузянин Клеомен. (XXXII) С чего начать мне: с обвинений или с сетований?

Сицилийцу предоставить полноту власти и почетные права, принадлежащие легату, квестору и, наконец, претору? Если сам ты был слишком увлечен попойками и женщинами, то где же были твои квесторы, где были легаты, [где был хлеб, оцененный в три денария за модий, где мулы, где палатки, где столь многочисленные и столь значительные поставки, назначенные должностным лицам и легатам римским народом и сенатом<sup>88</sup>], наконец, где были твои префекты, твои трибуны<sup>89</sup>? Если не было римского гражданина, достойного этих полномочий, то не нашлось ли бы его в городских общинах, неизменно остававшихся друзьями римскому народу и состоявших под его покровительством? Где была Сегеста, где были Центурипы? Ведь их сближают с римским народом не только взаимные услуги, верность, давность отношений, но и родство<sup>90</sup>. (84) О, бессмертные боги! Что же это значит? Если начальствовать над солдатами, кораблями и навархами этих, названных мной городских общин было приказано сиракузянину Клеомену, то не означает ли это, что Веррес уничтожил всякий почет, который по справедливости следует воздавать высокому положению и заслугам? Разве мы вели когда-либо войну в Сицилии, когда бы центурипинцы не были нашими союзниками, а сиракузяне — врагами? Я хочу только напомнить о событиях далекого прошлого, отнюдь не желая упрекать в чем-либо эту городскую общину<sup>91</sup>. Вот почему тот прославленный муж и выдающийся император, Марк Марцелл (его доблести мы обязаны взятием Сиракуз, а его милосердию их спасением) не позволил коренным сиракузянам селиться в части города, называемой Островом; даже поныне, повторяю я, сиракузянам селиться там запрещено; ибо это место может оборонять даже небольшой отряд. Поэтому Марцелл не захотел доверить его людям, не вполне надежным, тем более, что именно мимо этой части города должны проходить корабли, прибывающие из открытого моря. Вот почему он не счел возможным доверять ключ от Сиракуз людям, не раз преграждавшим доступ туда нашим войскам. (85) Вот в чем различие между твоим произволом и заветами наших предков, между твоими неистовыми страстями и их мудрым предвидением. Они лишили сиракузян доступа к берегу, ты предоставил им империй на море; они не велели сиракузянам селиться в местности, куда корабли могут подходить, ты повелел начальствовать над флотом и кораблями сиракузянину; тем, у кого наши предки отняли часть их города, ты дал часть нашего империя, а союзникам, с чьей помощью мы привели сиракузян к повиновению, ты приказал повиноваться сиракузянину. (XXXIII, 86) И вот выходит Клеомен на центурипинской квадриреме из гавани. За ним следуют корабль Сегесты, корабли Тиндариды, Гербиты, Гераклия, Аполлонии, Галунтия — с виду превосходный флот, но слабый и беспомощный из-за отсутствия гребцов и бойцов, уволенных в отпуск. Этот добросовестный претор, будучи облечен империем, видел свой флот, только пока тот проходил мимо места его позорнейшей пирушки; сам он, которого не видели уже много дней, тогда на короткое время все-таки показался своим матросам. Обутый в сандалии — претор римского народа! — стоял он на берегу, одетый в пурпурный плащ и тунику до пят и поддерживаемый какой-то бабенкой. Именно в этом наряде его весьма часто видели сицилийцы и очень многие римские граждане. (87) После

того как флот, пройдя некоторое расстояние, только на пятый день прислал к мысу Пахину<sup>92</sup>, матросы, томимые голодом, стали собирать корни диких пальм, в изобилии растущих в той местности, как и вообще в большей части Сицилии. Вот чем питались эти несчастные; Клеомен же, считая себя вторым Верресом как по своей склонности к роскошествам и к подлости, так и по своему империю, все дни напролет, подобно Верресу, пьянился на берегу в раскинутой для него палатке.

(XXXIV) Когда Клеомен был пьян, а все остальные умирали с голоду, вдруг приходит известие, что корабли пиратов находятся в гавани Одиссеи<sup>93</sup>; так называется эта местность; наш флот стоял в гавани Пахина. Так как у Пахина находился гарнизон, — по названию, но не в действительности — то Клеомен рассчитывал пополнить недостающее ему число матросов и гребцов солдатами, которых он собирался там взять. Но оказалось, что Веррес, в своей великой алчности, вел себя по отношению к сухопутным силам так же, как и по отношению к морским: налицо было очень мало людей, остальные были отпущены. (88) Клеомен прежде всего приказал поставить мачту на центурипинской квадриреме, поднять паруса и обрубить якоря и в то же время подать другим кораблям знак следовать за ним. Этот центурипинский корабль обладал необычайной скоростью хода под парусами; а какой скорости тот или иной корабль, во время претуры Верреса, мог достигнуть на веслах, знать никто не мог. Впрочем, с этой квадриремы, ввиду высокого положения Клеомена и благосклонности к нему Верреса, было уволено меньше всего гребцов и солдат. И вот, квадрирема в своем бегстве уже почти исчезла из виду, в то время как остальные корабли все еще старались сдвинуться с места. (89) Однако те, кто остался, не пали духом. Хотя их было мало, они все же кричали, что хотят сражаться при любых условиях и тот остаток жизни и сил, какой еще сохранился у этих людей, измученных голодом, отдать в открытом бою. Не обратясь Клеомен в бегство столь поспешно, у оставшихся была бы хоть некоторая возможность сопротивляться. Дело в том, что один его корабль был палубным и настолько большим, что мог служить прикрытием для остальных; если бы он участвовал в бою с морскими разбойниками, он производил бы впечатление города среди пиратских миопаронов. А теперь эти люди, беспомощные и покинутые своим предводителем и начальником флота, поневоле последовали за ним по тому же пути.

(90) По примеру корабля Клеомена, все корабли плыли по направлению к Гелору<sup>94</sup>, причем они не столько спасались от нападения морских разбойников, сколько следовали за своим императором. При этом тот корабль, который во время бегства шел последним, в опасное положение попадал первым. И вот, прежде всего пираты захватили корабль Галунтия, которым командовал знатнейший галунтинец Филарх; впоследствии локрийцы<sup>95</sup> выкупили его у разбойников за счет городской общины; во время первого слушания дела он под присягой рассказал вам обо всех этих событиях. Затем пираты захватили корабль Аполлонии, причем его командир, Антропин, был убит. (XXXV, 91) Тем

временем Клеомен уже достиг берега Гелора; он тотчас же высадился и бросил квадрирему, оставив ее качаться на волнах<sup>96</sup>. После того как император сошел на землю, командиры других кораблей, не имея возможности ни дать отпор врагу, ни спастись бегством по морю, последовали примеру Клеомена, пристав к берегу Гелора. Тогда предводитель морских разбойников Гераклеон, обязанный своей совершенно неожиданной победой не своему мужеству, а алчности и подлости Верреса, приказал великолепный флот римского народа, прибитый к берегу и выброшенный волнами на сушу, с наступлением сумерек поджечь и спалить дотла.

(92) О, страшное и тяжкое время для провинции Сицилии! О, памятное нам событие, пагубное и роковое для многих, ни в чем не повинных людей! О, неслыханная подлость и злодейство Верреса! В одну и ту же ночь, когда претор пылал позорнейшей страстью, флот римского народа пылал в огне, подожженный разбойниками. Поздней ночью известие об этом великому несчастью было получено в Сиракузах. Все сбежались к дому претора, куда незадолго до того женщины с музыкой и пением отвели Верреса по окончании той славной пирушки, о которой я говорил. Клеомен не осмелился предстать перед народом даже ночью и заперся у себя в доме; не было с ним и жены, которая могла бы утешить его в его несчастье. (93) В доме у нашего прославленного императора были установлены такие строгие правила, что, несмотря на получение такого важного известия по делу столь значительному, все же к нему не допустили никого, и никто не решался ни разбудить Верреса, если он спал, ни, если он бодрствовал, его потревожить. Но вот, когда все узнали об этом событии, во всем городе стали собираться огромные толпы народа. Ведь о приближении морских разбойников на этот раз подали знак не огнями, зажженными на сторожевых башнях или на холмах, как это ранее обычно всегда делалось; нет, пламя горевших кораблей возвестило о случившемся несчастье и о грозящей опасности.

(XXXVI) Стали искать претора; узнав, что никто не сказал ему о происшедшем, толпа с криками устремилась к его дому и осадила его. (94) Тогда он встал, велел Тимархиду рассказать ему обо всем, надел военный плащ (тем временем почти рассвело) и вышел из дома, с головой, тяжелой от вина, сна и разврата. Все встретили его такими криками, что он мигом вспомнил об опасности, некогда угрожавшей ему в Лампсаке<sup>97</sup>. Но эта опасность показалась ему даже более грозной, так как если ненависть в обоих случаях была одинаково сильна, то теперь толпа была более многочисленна. Верреса попрекали его поведением на берегу, его отвратительными пирушками; толпа по именам называла его наложниц. Его во всеуслышание спрашивали, где он был и что делал столько дней подряд, когда его ни разу не видели; требовали, чтобы им показали Клеомена, которого он назначил императором. Еще немного — и то, что в Утике произошло с Адрианом, повторилось бы в Сиракузах, и две могилы двух бесчестных преторов оказались бы в двух провинциях. Но толпа все же сознавала, каково общее положение, насколько оно тревожно; сознавала также и

необходимость сохранить свое достоинство и всеобщее уважение, так как сиракузский конвент римских граждан считается наиболее достойным не только в той провинции, но и в нашем государстве. (95) Пока Веррес, все еще полусонный, был как бы в оцепенении, граждане, ободряя друг друга, взялись — за оружие и заняли весь форум и Остров, составляющие значительную часть города<sup>98</sup>.

Проведя одну только ночь под Гелором, морские разбойники, бросив наши, еще дымящиеся корабли, начали подходить к Сиракузам. Так как они, очевидно, не раз слышали о несравненной красоте сиракузских зданий и гавани, то они и решили, что если им не удастся увидеть их во время претуры Верреса, то уж наверное не удастся никогда.

(XXXVII, 96) Сначала они подошли на своих кораблях к упомянутому мной месту летней стоянки претора, к той части берега, где Веррес, раскинув палатки, в течение трех дней разместил свой лагерь наслаждений. Найдя это место пустым и поняв, что претор уже снялся оттуда, они тотчас же, ничего не опасаясь, начали входить в самую гавань. Людям, незнакомым с этими местами, следует объяснить более подробно: когда я говорю "в гавань", это значит, что пираты проникли в самый город и притом в его внутреннюю часть. Дело в том, что не город окружен гаванью, а, напротив, самая гавань со всех сторон опоясана городом, так что морем омываются не стены зданий на окраине города, а в самое сердце города проникают воды гавани<sup>99</sup>. (97) Здесь-то, в бытность твою претором, пират Гераклеон четырьмя небольшими миопаронами бороздил воды гавани, сколько ему заблагорассудилось. О, бессмертные боги! В то время, как в Сиракузах находился носитель империя римского народа и ликторы со связками, пиратский миопарон дошел до самого сиракузского форума и до всех набережных; а между тем сюда никогда не удавалось проникнуть ни господствовавшим на море и увенчанным славой флотам карфагенян, несмотря на их частые попытки во время многих войн, ни знаменитому флоту римского народа, до твоей претуры не знавшему поражений в течение стольких войн с карфагенянами и сицилийцами<sup>100</sup>. Естественные условия здесь таковы, что жители Сиракуз внутри своих стен, в городе, на форуме увидели вооруженного и победоносного врага раньше, чем в гавани — какой-либо вражеский корабль<sup>101</sup>. (98) В бытность твою претором, суденышки морских разбойников сновали там, куда в давние времена ворвался, благодаря своей силе и численному превосходству, один только афинский флот в составе трехсот кораблей<sup>102</sup>, но и он, ввиду естественных условий местности и гавани, именно здесь был побежден и разбит. Здесь впервые получило тяжкий удар и было сломлено могущество этого государства; именно в этой гавани, как принято думать, величие, владычество и слава Афин потерпели крушение.

(XXXVIII) А теперь пират проник туда, где у него, как только он вошел, не только с обеих сторон, но и сзади оказалась значительная часть города. Он прошел мимо всего Острова, одного из городов, образующих Сиракузы,

носящего особое название и окруженного особыми стенами; в этом месте, как я уже говорил, наши предки запретили селиться жителям Сиракуз, понимая, что те, кто будет занимать эту часть города, будут держать в своей власти гавань. (99) И как вели себя пираты, разъезжая по гавани! Они бросали на берег найденные ими на наших кораблях корни диких пальм, чтобы все могли воочию убедиться в бесчестности Верреса и в несчастье, постигшем Сицилию. И сицилийские солдаты, сыновья земледельцев, чьи отцы своим трудом снимали с полей столько хлеба, что могли поставлять его римскому народу и всей Италии, они, родившиеся на острове Цереры, где, по преданию, впервые были найдены хлебные злаки<sup>103</sup>, пользовались пищей, от которой их предки, найдя хлебные злаки, избавили всех других людей! Во время твоей претуры, сицилийские солдаты питались корнями пальм, а пираты — сицилийским хлебом! (100) О, жалкое и прискорбное зрелище! Слава Рима, имя римского народа, множество честнейших людей были отданы на посмешище миопарону пиратов! В гавани Сиракуз пиратправлял триумф по случаю победы над флотом римского народа, и беспомощному и бессовестному претору летели в глаза брызги от весел морских разбойников.

После того как пираты покинули гавань, — не из чувства страха, а когда им надоело находиться в ней, — все стали доискиваться причины такого страшного несчастья. Все говорили и открыто признавали, что нечего удивляться, если, после того как гребцы и солдаты были распущены, оставшиеся были истощены лишениями и голодом, а претор в течение стольких дней пьянствовал со своими наложницами, на город обрушились такой позор и такое несчастье. (101) Достойное всяческого порицания позорное поведение Верреса подтверждалось словами тех, кому их городские общинны поручили начальствовать над кораблями, кто уцелел и, после потери флота, бежал назад в Сиракузы. Каждый из них говорил, сколько солдат, как ему было точно известно, было отпущено с его корабля. Дело было ясно, и Верреса изобличали в его наглости не только доказательства, но и вполне надежные свидетели.

(XXXIX) Верресу донесли, что на форуме и среди римских граждан весь день только и говорят об этом и что навархов расспрашивают о причинах потери флота, а те отвечают и каждому объясняют ее увольнением гребцов, голодом среди оставшихся, трусостью и бегством Клеомена. Узнав об этом, Веррес придумал следующий план действий. Что ему не миновать суда, он понял еще до того, как ему было предъявлено обвинение; это вы сами слышали от него при первом разборе дела. Он видел, что при свидетелях в лице этих навархов ему никак не оправдаться от столь тяжких обвинений. Вначале он принял решение нелепое, но все же довольно мягкое. (102) Он велит позвать навархов; они приходят; он пеняет им за такие разговоры о нем, просит прекратить их; пусть каждый говорит, что на его корабле было столько матросов, сколько полагалось, что уволенных в отпуск не было. Навархи выражают готовность поступить так, как он хочет. Веррес, не откладывая дела, тотчас же зовет своих приятелей; он спрашивает каждого наварха, сколько у него было матросов; каждый отвечает,

как его учили; Веррес составляет запись об этом и запечатывает ее печатями своих приятелей, как предусмотрительный человек, очевидно, чтобы в случае надобности воспользоваться этими свидетельскими показаниями против данного обвинения. (103) Его советчики, думается мне, посмеялись над его безрассудством и указали ему, что эти записи нисколько ему не помогут; более того, излишняя осторожность претора может только усилить подозрения против него по этой статье обвинения. Он уже делал эту глупость во многих случаях, приказав городским властям сделать желательные для него подчистки и исправления в официальных записях. Теперь он понял, что все эти меры не принесут ему пользы, после того как он изобличен точными записями, свидетельскими показаниями и подлинными книгами.

(XL) Поняв, что признание навархов, их показания, заверенные им самим, и записи нисколько ему не помогут, Веррес принял решение, достойное, не говорю уже — бесчестного претора (ибо это было бы еще терпимо), но жестокого и безумного тиранна; он решил, что он, — если хочет ослабить тяжесть этого обвинения (ибо совсем его опровергнуть он не рассчитывал), должен всех навархов, свидетелей его преступления, лишить жизни. (104) Его останавливало только одно соображение: как поступить с Клеоменом? "Смогу ли я покарать тех, кому я приказал повиноваться, и оказать снисхождение тому, кому я предоставил власть и империй? Смогу ли я казнить тех, которые за Клеоменом последовали, и простить Клеомена, приказавшего им вместе с ним обратиться в бегство и следовать за ним? Смогу ли я быть неумолимым к тем, чьи корабли не только были лишены экипажа, но и не имели палубы, и слабым по отношению к тому, кто один располагал палубным кораблем и сравнительно полным экипажем<sup>104</sup>? Клеомен должен погибнуть вместе с другими! А данное мной слово? А торжественные клятвы? А рукопожатия и поцелуи? А боевое товарищество и общие ратные подвиги в делах любви на том восхитительном берегу?" Нет, Клеомена никак нельзя было не пощадить.

(105) Веррес велел позвать Клеомена и сказал ему, что решил покарать всех навархов: этого настоятельно требует его собственная безопасность. "Одного тебя я пошажу и скорее соглашусь взять твою вину на себя и выслушать упреки в непоследовательности, чем либо жестоко поступить с тобой, либо сохранить живыми и невредимыми столь многочисленных и столь опасных свидетелей". Клеомен поблагодарил его и одобрил его решение, сказав, что именно так и следует поступить; при этом он, однако, указал Верресу на одно обстоятельство, которого тот не принял во внимание: наварха Фалакра из Центуриип наказывать нельзя, так как он был вместе с ним, Клеоменом, на центуриппинской квадриреме. Как же быть? Этого человека, происходящего из такой известной городской общины, молодого, очень знатного, оставить как свидетеля? "В настоящее время, — сказал Клеомен, — по необходимости придется это сделать; но впоследствии мы примем меры, чтобы он не мог нам повредить".

(XLI, 106) Обсудив и принял это решение, Веррес неожиданно вышел из преторского дома вне себя от злобы и бешенства, охваченный яростью. Он пришел на форум и велел позвать навархов. Так как они ничего не опасались, ничего не подозревали, они тотчас же пришли. Он велел заковать в цепи этих несчастных, ни в чем не повинных людей. Те стали умолять претора быть справедливым к ним и спросили его, за что он так поступает с ними. Тогда он объявил им причину: они сдали флот морским разбойникам. Народ встретил это заявление криками, удивляясь такому бесстыдству и наглости человека, который сваливает на других причину несчастья, происшедшего полностью вследствие его собственной алчности, и обвиняет других в предательстве, между тем как его самого считают союзником морских разбойников; кроме того, указывали, что обвинение предъявлено только через пятнадцать дней после гибели флота. (107) В то же время стали спрашивать, где же Клеомен, но не потому, что кто-либо считал его, каков бы он ни был, достойным казни в связи с совершившимся несчастьем. В самом деле, что мог сделать Клеомен? Ведь я ни на кого не могу взводить ложные обвинения. Что, повторяю, мог при всем своем желании сделать Клеомен, когда корабли, вследствие алчности Верреса, остались без экипажа? Глядят — а он сидит рядом с претором и, по своему обыкновению, подружески, что-то шепчет ему на ухо. Тогда все сочли поистине возмутительным, что честнейшие люди, выбранные их городскими общинами, закованы в кандалы, а Клеомен, ввиду его соучастия в гнусных и позорных поступках претора, сохраняет его неограниченное доверие. (108) Против навархов все же выставили обвинителя, Невия Турпиона, который, в преторию Гая Сацердота, был осужден за нанесение оскорблений. Это был человек, вполне подходящий Верресу в качестве пособника в преступлениях; Веррес пользовался его услугами как разведчика и подручного в десятинном деле, в уголовных делах и во всякого рода ложных обвинениях.

(XLII) В Сиракузы приехали отцы и близкие несчастных молодых людей<sup>105</sup>, потрясенные этим неожиданным известием о постигшем их несчастье. Они увидели своих сыновей закованными в цепи, поплатившимися свободой из-за алчности Верреса. Они пришли к тебе, старались оправдать своих сыновей, громко жаловались, взывали к твоему честному слову, которого у тебя нет и не было ни в чем и никогда. Среди этих отцов был Дексон из Тиндариды, знатнейший человек, связанный с тобой узами гостеприимства. Он принимал тебя в своем доме, ты его называл своим гостеприимцем. Неужели, когда ты его видел, несмотря на его высокое положение, сломленным несчастьем, постигшем его, то ни его слезы, ни его старость, ни права гостеприимства, да и само слово "узы гостеприимства" не отвратили тебя от преступления и не внушили тебе хотя бы малую долю человеческого чувства? (109) Но к чему говорить мне о правах гостеприимства, имея дело с этим диким зверем? Неужели от того, кто заочно внес в списки обвиняемых и, без слушания дела, признал виновным в уголовном преступлении Стения из Ферм, своего гостеприимца, чей дом он ограбил и опустошил, злоупотребив правами гостя, мы теперь можем ожидать соблюдения законов и обязанностей гостеприимства? И действительно, с

жестоким ли человеком имеем мы дело или же с диким и хищным зверем? Тебя не тронули слезы отца, вызванные опасностью, угрожавшей его ни в чем не повинному сыну; хотя ты и сам оставил дома отца, а твой сын был вместе с тобой, неужели твой сын своим присутствием не напомнил тебе об отцовской любви, а мысль об отсутствующем отце — о сыновнем чувстве? (110) В цепях был твой гостеприимец Аристей, сын Дексона. За что? — "Он сдал флот пиратам". — А за какую награду? — "Ему удалось бежать". — А Клеомен? — "Он оказался трусом". — Но ранее ты наградил его за мужество венком<sup>106</sup>. "Он уволил матросов в отпуск". — Но плату за это увольнение от всех получил ты. По другую сторону от Верреса стоял другой отец, Евбулид из Гербиты, известный у себя на родине и знатный человек. За то, что он, говоря в защиту сына, задел честь Клеомена, его чуть было не раздели донаага. Но что же можно было говорить или приводить в оправдание? — "Называть Клеомена нельзя". — Но этого требует самое дело. — "Умрешь, если назовешь его имя". — Легкими наказаниями он никому не грозил. — "Но ведь не было гребцов". — "Претора смеешь ты обвинять? Удавить его!" — Но если нельзя будет обвинять ни претора, ни его соперника, когда вся суть дела в них двоих, то что же будет?

(XLIII, 111) К суду был привлечен также Гераклий из Сегесты, человек, известный у себя на родине и очень знатный. Слушайте меня, судьи, как того требует ваше человеколюбие; вы услышите о больших притеснениях и обидах, испытанных нашими союзниками. Надо вам знать, что Гераклий был в особом положении: вследствие тяжелой болезни глаз он тогда не выходил в море на корабле и по приказу лица, облеченного властью, оставался в Сиракузах, уволенный в отпуск. Он, во всяком случае, не сдавал флота пиратам, не бежал в страхе и не покидал своего места. Так что его, очевидно, следовало наказать тогда, когда флот выходил из Сиракуз. Но он был подвергнут такому же судебному преследованию, словно был уличен в каком-либо явном преступлении, хотя на него нельзя было взвести даже ложного обвинения.

(112) Среди навархов был некто Фурий из Гераклеи (некоторые сицилийцы носят латинские имена); человек этот, пока был жив, был известен и пользовался уважением не только у себя на родине, а после смерти стал известен во всей Сицилии. У него хватило мужества не только открыто обличать Верреса (ибо он понимал, что ему, перед лицом неминуемой смерти, нечего терять); более того, осужденный на смерть, когда рядом с ним в тюрьме дни и ночи, обливаясь слезами, сидела его мать, он написал речь в свою защиту. Нет теперь человека в Сицилии, у которого бы не было этой речи, кто бы ее не читал и не вспоминал, благодаря ей, о твоих злодеяниях и жестокости. Он указывает в ней, сколько матросов он получил от своей городской общины; скольких Веррес уволил в отпуск и сколько денег взял у каждого из них; сколько матросов осталось на его корабле; это же он сообщает и о других кораблях. Когда Фурий стал говорить это в твоем присутствии, его начали стегать розгами по глазам. Перед лицом смерти он легко переносил телесную боль. Он кричал (и это сохранилось в написанной им речи): если слезы его матери, умоляющей о спасении его жизни,

значат для тебя меньше, чем слезы бесстыднейшей женщины, хлопочущей за Клеомена, то это — позорное преступление. (113) Затем, я также вижу из этой речи, что Фурий уже перед смертью справедливо предсказал и насчет вас (если только римский народ в вас не ошибся): Веррес, убивая свидетелей, не в силах уничтожить правосудие; он, Фурий, перед лицом разумных судей будет более важным свидетелем, находясь у подземных богов, чем в случае, если бы он, будучи жив, был вызван в суд; живой он был бы свидетелем одной только алчности Верреса; теперь же, казненный таким образом, он станет свидетелем его злодейства, наглости и жестокости. Вот еще одно прекрасное место: "Когда твое дело будет разбираться, в суд явятся не только толпы свидетелей, но и Кары, посланные богами-манами<sup>107</sup> невинных людей, и фурии, мстительницы за злодеяния; мне же моя участь представляется более легкой потому, что я уже видел острие твоих секир и лицо и руку твоего палача Секстия, когда в присутствии конвента римских граждан, по твоему повелению, римских граждан казнили". (114) Короче говоря, судьи, свободой, которую вы предоставили союзникам, Фурий полностью воспользовался перед мучительной казнью, уделом самых жалких рабов.

(XLIV) На основании решения совета судей, Веррес всем вынес обвинительный приговор. Но в таком важном деле, касавшемся стольких людей, он не привлек к участию в суде ни своего квестора Тита Веттия, чьим советом он мог бы воспользоваться, ни легата Публия Цервия, достойного мужа, которого Веррес первым отвел как судью именно потому, что он был легатом, когда Веррес был в Сицилии претором; нет, на основании решения разбойников, то есть своих спутников<sup>108</sup>, он всем вынес обвинительный приговор. (115) Всех сицилийцев, наших преданнейших и давнишних союзников, много раз облагодетельствованных нашими предками, это сильно встревожило и внушило им страх за их судьбу и за все их имущество. Они негодовали на то, что всем известные милосердие и мягкость нашего владычества сменились жестокостью и бесчеловечностью, что выносится обвинительный приговор стольким людям одновременно при отсутствии преступления, что бесчестный претор ищет оправдания своим хищениям в позорнейшей казни ни в чем не повинных людей. Кажется, уже ничего не прибавишь к этой бесчестности, безрассудству и жестокости, и вполне справедливо так кажется; ибо, если Веррес станет состязаться с другими в бесчестности, он всех оставит позади себя и намного. (116) Но он состязается с самим собой; он всегда старается, чтобы его новое злодейство превзошло его прежний проступок. Я уже говорил о том, что по просьбе Клеомена пощадили Фалакра из Центурип, так как Клеомен находился на его квадриреме; однако этот молодой человек все же сильно тревожился, понимая, что он в таком же положении, как и те, которые гибли без всякой вины; и вот, к нему явился Тимархид<sup>109</sup>; смерть под секирой, сказал он, не угрожает Фалакру; но он советует ему принять меры, чтобы его не засекли розгами. Не буду вдаваться в подробности; вы сами слышали показания молодого человека: он в страхе дал Тимархиду взятку. (117) Но это пустячное обвинение для такого подсудимого. Наварх знаменитой городской общине, страшась розог, откупился

деньгами; житейская мелочь. Другой, во избежание обвинительного приговора, дал взятку; дело обычное. Римский народ не хочет, чтобы Верресу предъявились избитые обвинения; он требует новых, жаждет неслыханных; он думает, что суд проходит не над претором Сицилии, а над нечестивым тиранном.

(XLV) Осужденных бросили в тюрьму; их обрекли на казнь; подвергли мучениям родителей навархов; им запретили посещать их сыновей, запретили приносить пищу и одежду своим детям. (118) Отцы, которых вы здесь видите, лежали у порога тюрьмы; несчастные матери проводили ночи у ее дверей, лишенные возможности в последний раз увидеть своих детей. Они молили только о позволении принять своими устами последний вздох своих сыновей<sup>110</sup>. Там же был и тюремщик, палач претора, смерть и ужас для союзников и граждан — ликтор Секстий, из каждого стона и из каждого страдания извлекавший определенный доход. "За вход ты дашь мне столько-то; за право принести пищу — столько-то". Все на это соглашались. "Ну, а за то, что я снесу голову своему сыну одним взмахом секиры, сколько дашь ты мне? За то, чтобы он не мучился долго, чтобы не пришлось повторять удар; за то, чтобы он испустил дух без страданий?" И они давали ликтору деньги даже за это. (119) О, какое страшное и невыносимое горе! Какая тяжкая и жестокая участь! Родителей заставляли выкупать за деньги не жизнь их детей, а быстроту их смерти! Да и молодые люди сами уславливались с Секстием об ударе и об одном взмахе секиры, и последняя просьба сыновей к их родителям была о том, чтобы те дали деньги ликтору за облегчение их мук.

Много страданий и притом очень тяжких было изобретено для родителей и близких, очень много; но пусть бы они кончились со смертью навархов! Нет, не кончатся. Может ли жестокость дойти еще до чего-нибудь? Да, найдется кое-что еще. Ибо, после того как они будут казнены ударом секиры, их тела будут брошены на съедение диким зверям<sup>111</sup>. Если это горестно для родителей, то пусть они заплатят за возможность похоронить своих сыновей. (120) Вы слышали показания Онаса из Сегесты, человека знатного, он заплатил Тимархиду деньги за право похоронить наварха Гераклия. Тут ты уже не скажешь: "Пришли отцы, озлобленные потерей своих сыновей". Это говорит виднейший муж, известнейший человек, и говорит не о своем сыне. Да был ли в Сиракузах человек, который бы не слышал, который бы не знал, что соглашение о своем погребении навархи заключали с Тимархидом еще при своей жизни? Разве они не говорили с Тимархидом на глазах у всех, разве в этом не участвовали все их родственники? Разве не заказывались похороны еще живых людей?

(XLVI, 121) Когда все было выяснено и решено, осужденных стали выводить из тюрьмы и привязывать к столбам. Кто из присутствующих обладал таким каменным сердцем, кто, кроме тебя одного, был настолько лишен человеческих чувств, что его не тронула молодость, знатность, несчастье, постигшее навархов?

Кто не плакал, кто не усматривал в беде, постигшей их, участи, не исключенной и для себя, и опасности, грозившей всем? Взмахи секиры. Все в горе, а ты радуешься и ликуешь; ты доволен, что устраниены свидетели твоей алчности. Ты, заблуждался, Веррес, и сильно заблуждался, думая, что позор своих хищений и гнусностей ты смываешь кровью неповинных союзников. Обезумев, ты был слеп, раз ты полагал, что жестокость — лекарство для ран, нанесенных твоей алчностью. И в самом деле, хотя и мертвые те свидетели злодейства, все же их родичи не забывают ни о них, ни о тебе; из числа самих навархов кое-кто все же остался жив и находится здесь; мне кажется, судьба сохранила их для того, чтобы они явились мстителями за тех неповинных людей и выступили в этом суде. (122) Здесь находится Филарх из Галунтия, который, не участвуя в бегстве вместе с Клеоменом, подвергся нападению морских разбойников и был взят ими в плен. Это несчастье спасло его, так как, не попади он в плен к пиратам, он оказался бы в руках у этого разбойника, истребляющего союзников. Он говорит как свидетель обувольнении матросов в отпуск, о голоде, о бегстве Клеомена. Здесь находится Фалакр из Центурип, происходящий из прославленной общины, человек из знатного рода; он дает такие же показания, ни в чем не расходясь с Филархом.

(123) Во имя бессмертных богов! С каким, скажите мне, чувством сидите вы здесь, судьи? Какое впечатление на вас произвел мой рассказ? Я ли потерял разум и сверх всякой меры скорблю об этом бедствии и несчастье, постигшем союзников, или жесточайшие мучения и скорбь их родных, выпавшие на долю ни в чем не повинных людей, удручают в такой степени также и вас? Ибо, когда я говорю, что наварх из Гербиты, что наварх из Гераклеи были обезглавлены, перед моими глазами встает возмущающая душу картина этого несчастья. (XLVII) Неужели граждане этих городов, питомцы тех полей, с которых их стараниями из года в год доставляется огромное количество хлеба для римского плебса, люди, которых родители произвели на свет<sup>112</sup> и взрастили в надежде на нашу державу и на нашу справедливость, были сохранены для нечестивой свирепости Гая Верреса и для его роковой секиры? (124) Вспоминая о навархе из Тиндариды, вспоминая о навархе из Сегесты, я в то же время думаю о правах и об обязанностях этих городских общин. Города, которые Публий Африканский счел нужным даже украсить добычей, отнятой им у врагов, Гай Веррес своим нечестивым злодеянием лишил не только тех украшений, но и знатнейших мужей. Вот что любят говорить жители Тиндариды: "Мы принадлежим к числу семнадцати городских общин Сицилии; мы всегда, во время пунических и сицилийских войн, были верными друзьями римского народа; мы всегда доставляли римскому народу и помочь при ведении войны, и возможность наслаждаться миром". Поистине много помогли им эти права под империем и властью Верреса! (125) Моряков ваших некогда водил против Карфагена Сципион, а теперь корабль, почти лишенный экипажа, против морских разбойников ведет Клеомен. Публий Африканский поделился с вами доспехами, отбитыми у врагов, и наградами за заслуги, а теперь вы, ограбленные Верресом, потеряв корабль, удененный морскими разбойниками, сами признаны врагами.

Что еще сказать мне? Кровное родство, соединяющее нас с жителями Сегесты, не только засвидетельствовано памятниками письменности, не только упоминается в преданиях, но и подтверждено и доказано многочисленными услугами с их стороны; какие же плоды принесли им, под империем Верреса, эти тесные связи? Очевидно, то преимущество, судьи, что знатнейший молодой человек был вырван из лона отечества и отдан в руки Секстия, палача Верреса. Город, которому наши предки дали обширные тучные поля, который они освободили от повинностей, не добился, в уважение к своему родству с нами, верности, древности, влиянию, даже права вымолить пощаду своему честнейшему и ни в чем не повинному гражданину и избавить его от смерти.

(XLVIII, 126) Где же союзники наши найдут для себя прибежище? К кому обратиться им с мольбой? Какая надежда будет привязывать их к жизни, если вы покинете их? В сенат ли обращаться им? Зачем? Чтобы он осудил Верреса на казнь? Это не в обычай и не является правом сената. У римского ли народа искать им прибежища? У народа готов ответ: он скажет, что издал закон ради блага союзников и поставил вас охранителями этого закона и карателями за его нарушение. Итак, здесь единственное место, где они могут найти убежище. Вот пристань, вот крепость, вот алтарь<sup>113</sup> для союзников! Однако теперь они обращаются сюда не за тем, за чем обращались раньше, требуя возврата своей собственности. Не серебряную утварь, не золото, не ткани, не рабов требуют они вернуть им, не украшения, похищенные из городов и святилищ; как люди неискушенные, они боятся, что римский народ уже допускает эти хищения и согласен на то, чтобы они совершались<sup>114</sup>. Ведь мы уже в течение многих лет терпим и молчим, видя, что все достояние целых народов перешло в руки нескольких человек. Наше равнодушие и наше повторство этому стяжанию кажется еще большим потому, что ни один из этих грабителей не скрывает своей жадности и, видимо, даже не старается, чтобы она менее бросалась в глаза. (127) Найдется ли в нашем великолепном и богато украшенном городе хотя бы одна статуя, хотя бы одна картина, которая была бы взята не у побежденных нами врагов, вывезена не из их страны? А вот усадьбы этих стяжателей украшены и переполнены множеством прекрасных предметов, захваченных ими у наших преданнейших союзников. Где же, по вашему мнению, находятся богатства всех чужеземных народов, ныне впавших в нищету, когда вы видите, что Афины, Пергам, Кизик, Милет, Хиос, Самос, словом, вся Азия, Ахайя, Греция, Сицилия заключены в столь немногих усадьбах<sup>115</sup>?

Но союзники ваши, судьи, повторяю, махнули на это рукой. Возможность изъятия их имущества в пользу римского народа они предотвратили своими заслугами и верностью. Что касается алчности отдельных лиц, то, когда они ей не могли препятствовать, они все же могли каким-то образом ее удовлетворять; но теперь они уже лишены возможности не только противиться ей, но даже удовлетворять ее. Поэтому о своем имуществе они не заботятся; возврата денег, давшего название настоящему суду, они не требуют; они от них отказываются. Вот в каком убore<sup>116</sup> прибегают они к вашему заступничеству.

(XLIX, 128) Взгляните, судьи, взгляните на скорбный и нищенский вид наших союзников. Вот Стений из Ферм, отпустивший себе волосы и носящий траурную одежду; хотя весь его дом разграблен, он о твоих хищениях не говорит; он требует от тебя, чтобы ты возвратил ему его самого, так как ты, своим преступным произволом, выгнал его из родного города, где он был виднейшим человеком благодаря своим многим достоинствам и заслугам. Этот вот Дексон, которого вы видите перед собой, не требует от тебя ни того, что ты похитил у общины Тиндариды, ни того, что ты украл у него самого; несчастный отец требует, чтобы ты вернул ему его единственного, прекрасного и ни в чем не повинного сына; не деньги хочет он увезти домой из суммы, подлежащей взысканию с тебя<sup>117</sup>; он хочет известием о постигшей тебя каре принести хоть какое-нибудь утешение праху и костям своего сына. Этот вот старец Евбулид на закате своих дней совершил это многотрудное путешествие не для того, чтобы получить обратно хотя бы часть своего имущества, но чтобы теми же самыми глазами, какими он видел окровавленное тело своего сына, увидеть, как тебе вынесут обвинительный приговор. (129) Если бы Луций Метелл разрешил им<sup>118</sup>, то сюда, судьи, пришли бы и матери и сестры тех несчастных людей. Когда я подъезжал ночью к Гераклею, одна из них, в сопровождении всех матрон с множеством факелов в руках, вышла навстречу мне и, обращаясь ко мне как к своему спасителю, а тебя называя своим палачом, повторяя со слезами имя своего сына, бросилась, несчастная, к моим ногам, словно в моей власти было вызвать ее сына из подземного мира. Так же поступали и в других городах престарелые матери и маленькие дети несчастных навархов; возраст и тех и других от меня требовал труда и настойчивости, а от вас требует справедливости и сострадания. (130) Поэтому, судьи, Сицилия, со слезами, поручила мне поддерживать эту жалобу более настоятельно, чем другие. Слезы ее, а не жажда славы привели меня сюда для того, чтобы ни несправедливые приговоры, ни тюрьма, ни цепи, ни побои, ни секиры, ни пытки союзников, ни кровь невинных людей, ни, наконец, окровавленные тела казненных и горе их родителей и близких не могли быть источником стяжания для наших должностных лиц. Если я, благодаря вашей справедливости и строгости, осуждением Верреса избавлю Сицилию от этого страха, судьи, то я сочту, что выполнил свой долг и оправдал надежды тех, кто мне поручил вести это дело.

(L, 131) Поэтому, если ты случайно найдешь человека, который попытается защищать тебя от обвинения в потере флота, то пусть он защищает тебя так: общие соображения, не имеющие отношения к делу, пусть он оставит в стороне — будто я вменяю тебе в вину случайность, несчастье называю преступлением, упрекаю тебя в потере флота, хотя многие храбрые мужи не раз терпели неудачи на суше и на море вследствие обычных и непредвиденных опасностей во время войны. Никакой превратности судьбы я не ставлю тебе в вину; никаких нет у тебя оснований приводить мне в пример чужие неудачи и подбирать примеры злоключений, испытанных многими людьми. Да, я утверждаю, что на кораблях не было экипажа, что гребцы и матросы были уволены в отпуск, что оставшиеся питались корнями пальм, что над флотом римского народа начальствовал

сицилиец, а над нашими неизменными союзниками и друзьями — сиракузянин; я утверждаю, что ты как раз в то время и на протяжении всех предшествовавших дней пьянствовал на берегу в обществе своих наложниц; я вам представляю людей, которые могут удостоверить и засвидетельствовать все эти факты. (132) Неужели ты думаешь, что я хочу тебя оскорбить в твоем несчастье, лишить тебя возможности сослаться на судьбу, попрекаю тебя и ставлю тебе в вину случайности, неизбежные во время войны? Впрочем, обычно не хотят, чтобы их попрекали случайностями судьбы, именно те люди, которые ей доверились, которые сами испытали ее опасности и изменчивость. Правда, к этой твоей беде судьба не была причастна. Ведь люди обычно испытывают свое военное счастье в сражениях, а не в попойках. В этом же несчастье — мы можем смело сказать — не Марс был "общим", а Венера<sup>119</sup>. А если превратности судьбы не следует ставить в вину тебе, то почему ты не отнесся снисходительно к превратностям судьбы, постигшим тех ни в чем не повинных людей?

(133) Вот еще довод, от которого тебе придется отказаться: будто я обвиняю и черню тебя за казнь по обычаям предков — за отсечение головы. Не из-за рода казни обвинение. Не отрицаю ни необходимости казни через отсечение головы, ни надобности поддерживать воинскую дисциплину страхом и не считаю нужным уничтожать строгость империя, отменять кару за позорное деяние. Я признаю, что не только к союзникам, но даже и к нашим согражданам и к нашим солдатам очень часто применялись суровые и строгие наказания. (LI) Поэтому ты можешь опустить это возражение. Я же, со своей стороны, доказываю, что были виноваты не навархи, а ты; я обвиняю тебя в том, что ты за деньги отпустил гребцов и солдат; это говорят и уцелевшие навархи<sup>120</sup>; это официально говорит союзная городская община Нет; это официально говорят представители Аместрата, Гербиты, [Энны,] Агирия, Тиндарида; наконец, это говорит твой свидетель, твой император, твой соперник, твой гостеприимец Клеомен: он высадился на берег с целью пополнения своего экипажа солдатами из гарнизона в Пахине. Он, конечно, не сделал бы этого, будь на кораблях полное число матросов; ведь численность экипажа на полностью вооруженном и снаряженном корабле такова, что к нему, уже не говорю — многих, но даже и одного человека прибавить нельзя. (134) Кроме того, я утверждаю, что даже оставшиеся матросы были истощены и обессилены голодом и всевозможными лишениями. Я утверждаю: либо ни один из навархов не был виноват; либо, если одного из них следует признать виновным, то наиболее виновен тот, кто располагал наилучшим кораблем, наибольшим числом матросов и обладал высшим империем; либо если все они были виноваты, то не следовало позволять Клеомену присутствовать при их мучительной казни. Я также утверждаю, что во время самой казни назначать плату за возможность оплакать своих близких, плату за смертельный удар, плату за совершение погребальных обрядов и погребение было нарушением божеского закона.

(135) Поэтому, если ты захочешь ответить мне, говори следующее: флот был полностью снаряжен, все бойцы были налицо; не было весла, которое бы, за

отсутствием гребца, скользило по воде; продовольствия было достаточно; лгут навархи; лгут столь уважаемые городские общины; лжет даже вся Сицилия; предал тебя Клеомен, который, по его словам, высадился на берег, чтобы привести для себя солдат из Пахина; мужества не хватило у навархов, а не военной силы; Клеомен, сражавшийся с великой храбростью, был покинут и оставлен ими; за погребение никто не получил ни сестерция. Если ты это скажешь, ты будешь уличен во лжи; если же ты будешь говорить что-либо другое, ты не опровергнешь ничего из того, что я сказал.

(LII, 136) И здесь ты осмелишься сказать: "Среди судей есть мой близкий друг, есть друг моего отца"<sup>121</sup>? Неужели ты не сознаешь, что, чем ближе человек связан с тобой в каком-либо отношении, тем больше ты должен стыдиться, будучи обвинен в таком преступлении? — "Это друг моего отца". — Да если бы твой отец сам входил в состав суда, что — во имя бессмертных богов! — мог бы он сделать? Если бы он сказал тебе: "Ты, претор в провинции римского народа, когда тебе надо было руководить военными действиями на море, в течение трех лет освобождал мамертинцев от обусловленной договором поставки корабля; для тебя, для твоих личных нужд, у тех же мамертинцев был за счет города построен огромный грузовой корабль; ты вымогал у городских общин деньги под предлогом снаряжения флота; ты за плату распустил гребцов; ты, когда твой квестор и легат захватили корабль морских разбойников, скрыл архипирата от глаз всего населения; ты счел возможным казнить через отсечение головы людей, которых называли римскими гражданами и которых многие лица таковыми признавали; ты осмелился к себе в дом увести пиратов [и в суд привести архипирата из своего дома]; (137) ты в такой прекрасной провинции, среди преданнейших нам союзников и честнейших римских граждан, перед лицом опасности, угрожавшей провинции, в течение многих дней подряд валялся на берегу, предаваясь попойкам; тебя в те дни никто не мог ни посетить в своем доме, ни увидеть на форуме; ты заставлял матерей семейств, жен наших союзников и друзей, участвовать в этих попойках; ты заставлял своего сына, носящего претексту, моего внука, находиться в обществе таких женщин, чтобы ему, в его восприимчивом и опасном возрасте, служил примером порочный образ жизни отца; тебя, претора в провинции, видели в тунике и пурпурном плаще; ты, под влиянием развратной любви, отнял у легата римского народа империй над флотом и передал его сиракузянину; твои солдаты в провинции Сицилии<sup>122</sup> были лишены продовольствия; из-за твоей страсти к роскоши и из-за твоей алчности флот римского народа был захвачен и сожжен морскими разбойниками; (138) с основания Сиракуз воды гавани этого города, ранее недоступные для врагов, впервые стали бороздить корабли пиратов; и ты не захотел ни скрыть, ни постараться предать забвению столько и притом таких тяжких проступков, ни умолчать о них; нет, ты, без всяких к тому оснований, вырвал навархов из объятий их отцов, с которыми был связан узами гостеприимства, и обрек их на мучительную смерть; ни горе, ни слезы отцов, которые могли напомнить тебе обо мне, тебя не смягчили; кровь невинных не только доставила тебе удовольствие, но и принесла доход", (LIII) — если бы

твой отец сказал тебе все это, мог ли бы ты искать у него снисхождения, просить о прощении?

(139) Я сделал для сицилийцев достаточно, исполнил долг дружбы, выполнил данное мной обещание и обязательство<sup>123</sup>. Остается еще одно дело: я не брал его на себя, судьи, но оно внушено мне самой природой; оно не поручено мне, но глубоко запало и проникло в мое сердце и разум; оно касается уже не благополучия наших союзников, а жизни и крови римских граждан, то есть каждого из нас. В этой части моей речи не ждите от меня, судьи, что я стану приводить доказательства, словно что-то здесь может внушать сомнения; все то, о чем я буду говорить, окажется настолько известным, что для подтверждения этого я мог бы привлечь всю Сицилию как свидетельницу. В самом деле, какое-то бешенство, спутник злодейства и преступной отваги, поразило его необузданый ум и душу, лишенную всяких человеческих чувств, таким сильным безумием, что он, творя суд, ни разу не поколебался, в присутствии всех, открыто осуждать римских граждан на казнь, установленную для рабов, уличенных в злодеяниях.

(140) Стоит ли мне назвать всех тех, кого Веррес засек розгами? Скажу в двух словах: во время его претуры разница между гражданами и негражданами в этом отношении не было. Поэтому ликтор уже по привычке, даже без знака, данного Верресом, налагал руку на римского гражданина. (LIV) Можешь ли ты отрицать, Веррес, что на форуме в Лилибее в присутствии огромной толпы Гай Сервилий, римский гражданин из панормского конвента, давно ведущий дела в Сицилии, упал на землю подле твоего трибунала, у твоих ног, под ударами розог? Посмей отрицать этот первый факт, если можешь. В Лилибее не было человека, который бы не видел этого, в Сицилии — человека, который бы не слышал об этой расправе. Под ударами твоих ликторов, повторяю я, римский гражданин на твоих глазах повалился на землю. (141) И за что, бессмертные боги! Впрочем, таким вопросом я оскорбляю всех римлян и права римского гражданства; я спрашиваю о причинах расправы с Сервилием, как будто вообще может быть законная причина для такого обращения с любым римским гражданином. Простите мне это, судьи, в одном этом случае, в остальных я уже не буду доискиваться причин. Сервилий довольно резко высказался о бесчестности и подлых поступках Верреса. Как только претору об этом сообщили, он повелел, чтобы Сервилий дал рабу Венеры<sup>124</sup> обязательство явиться на суд в Лилибей. Сервилий дал обязательство; стороны явились в Лилибей. Хотя никто не винял иска и никто не предъявлял обвинения, Веррес начал принуждать Сервилия к заключению спонсии с его ликтором на две тысячи сестерциев по формуле: "Если окажется, что он не обогащался путем кражи..."<sup>125</sup>. Рекуператоров, говорил Веррес, он назначит из состава своей когорты. Сервилий отказался; он умолял Верреса не подвергать его перед пристрастными судьями и без участия противника суду, угрожающему его гражданским правам. (142) В то время как он это говорил, его обступило шестеро дюжих ликторов, очень опытных по части избиений и порки; они стали жестоко сечь его розгами; под конец,

Секстий, первый ликтор<sup>126</sup>, о котором я уже говорил, начал, повернув розгу толстым концом, жестоко бить этого несчастного по глазам. И вот, Сервилий, когда кровь залила ему лицо и глаза, рухнул на землю, но они продолжали избивать лежачего, чтобы он, наконец, произнес формулу спонсии. После такой расправы Сервилия унесли замертво, и он вскоре умер, а наш служитель Венеры, преисполненный приятности и обаяния, за его счет поставил в храме Венеры серебряную статую Купидона. Так он, используя даже имущество своих жертв, исполнял обеты, данные им в夜里 наслаждении<sup>127</sup>.

(LV, 143) К чему говорить мне о каждом из видов мучений, каким Веррес подвергал римских граждан? Я лучше опишу их все в совокупности. Знаменитая тюрьма, устроенная в Сиракузах жесточайшим тиранном Дионисием<sup>128</sup> и называемая Каменоломнями, под империей Верреса стала местом жительства римских граждан. Стоило кому-нибудь не угодить Верресу своими речами или своим видом — и его тотчас же бросали в Каменоломни. Я вижу, судьи, что все возмущены этим, и я понял это уже во время первого слушания дела, когда об этом говорили свидетели. Ведь права свободного гражданина, по вашему мнению, должны быть в силе не только здесь, где находятся народные трибуны и другие должностные лица, где на форуме заседают суды, где существует власть сената, где высказывает свое мнение стекающийся отовсюду римский народ; нет, в какой бы стране и среди какого бы народа ни были оскорблены права римских граждан, это близко касается всеобщего дела свободы и чести, что вами твердо постановлено. (144) В тюрьму, предназначенную для содержания злодеев и преступников из числа чужеземцев, для содержания морских разбойников и врагов, ты осмелился бросить такое множество римских граждан? И неужели тебе никогда не приходила в голову мысль о суде, о народной сходке<sup>129</sup>, об этом вот множестве людей, которые теперь смотрят на тебя с такой неприязнью и ненавистью? Ни разу не помыслил ты о достоинстве далекого от тебя римского народа, ни разу не представил себе даже вида этой толпы? Неужели ни разу не пришло тебе в голову, что тебе придется возвратиться и предстать перед этими людьми, появиться на форуме римского народа, оказаться во власти законов и правосудия?

(LVI, 145) И что это была за страсть совершать жестокие поступки? Какова была причина, толкавшая Верреса на столь многочисленные злодействия? Единственной причиной, судьи, был изобретенный им новый, неслыханный доселе способ грабежа. Как те, кто, по рассказам поэтов, захватывал морские заливы<sup>130</sup>, мысы и крутые скалы, чтобы иметь возможность убивать мореплавателей, причаливших к берегу, так Веррес, готовый к враждебным действиям, из любой части Сицилии не упускал из вида ни одного из морей, омывавших ее. Откуда бы ни приходил корабль, — из Азии ли или из Сирии, из Тира ли или из Александрии — его тотчас же захватывали при посредстве надежных доносчиков и стражей. Весь экипаж бросали в Каменоломни, груз и товары доставляли в дом претора.

В Сицилии, после долгого промежутка времени, появился... не второй Дионисий и не Фаларид<sup>131</sup> (ведь на этом острове некогда правила много и притом очень жестоких тираннов); нет, поселилось невиданное свирепое чудовище — из тех, какие, по преданиям, в древности жили в этой местности. (146) Ибо, по моему мнению, ни встреча с Харибдой, ни встреча со Скиллой не были столь роковыми для мореплавателей, как в том же проливе встреча с Верресом. Последняя была еще более роковой — по той причине, что он окружил себя гораздо более многочисленными и более свирепыми псами<sup>132</sup>. Это был второй, еще более жестокий Киклоп<sup>133</sup>, так как держал в своей власти весь остров, а тот, древний, говорят, занимал одну только Этну [и ближайшую к ней часть Сицилии]. И какую же причину, судьи, тогда приводил Веррес в оправдание этой столь нечестивой жестокости? Ту же, какую теперь приводят в его защиту. Всех, более или менее богатых людей, приезжавших в Сицилию, он объявлял солдатами Сертория, бежавшими из Диания. Чтобы отвести от себя опасность, одни из них показывали пурпурные ткани из Тира, другие — ладан, благовония и полотна, третьи — драгоценные камни и жемчуг, четвертые — греческие вина и рабов из Азии, которых они везли на продажу, дабы по их товарам можно было судить, откуда они едут. Они не предвидели, что на них навлекут опасность те самые товары, которые по их мнению, должны были служить для них спасительным доказательством. Ибо Веррес заявлял, что они их приобрели благодаря своим связям с пиратами; он приказывал отводить купцов в Каменоломни, а их корабли и груз тщательно охранять.

(LVII, 147) Когда, вследствие таких распоряжений, тюрьма уже была заполнена купцами, тогда и началось то, о чем дал показания римский всадник Луций Светтий, весьма уважаемый человек, и что сообщают и другие свидетели: римских граждан душили в тюрьме — смерть, унизительная для римлянина, и даже умоляющий возглас: "Я — римский гражданин!" — возглас, который в далеких странах, среди варваров, не раз многим помогал и многих спасал, приносил купцам более мучительную смерть и более быструю казнь. Что же ты скажешь, Веррес? Что думаешь ответить на это обвинение? Неужели — что я лгу, выдумываю, преувеличиваю твою вину? Осмелившись ли ты подсказать своим защитникам что-либо подобное?

Прошу подать мне список сиракузян, который Веррес прятал в складках своей тоги; ведь этот список, как он полагает, составлен по его указаниям. Дай мне этот весьма тщательно составленный список заключенных, из которого видно, кто когда взят под стражу, когда умер, когда казнен. [Список жителей Сиракуз.] (148) Вы видите, что римских граждан толпами бросали в Каменоломни; вы видите, что в то место, пребывание в котором было величайшим унижением, было согнано множество наших сограждан. Ищите теперь пометки об их выходе из этого места; таковых нет. Что же, все они умерли своей смертью? Если бы Веррес стал это утверждать, то его слова не заслуживали бы доверия. Но в том же списке есть греческое слово, которого этот невежественный и небрежный

человек никогда не мог ни заметить, ни понять: ἐδίκαιωθησαν [были осуждены], то есть, как говорят сицилийцы, казнены, умерщвлены.

(LVIII, 149) Если бы какой-нибудь царь, какая-нибудь чужеземная городская община, какое-нибудь племя поступили с римскими гражданами подобным образом, неужели мы не покарали бы их за это от имени нашего государства, не объявили бы им войны? Разве можно было бы оставить без возмездия и без наказания такое оскорбление и надругательство над именем римлян? Вспомните, сколько раз и какие большие войны вели наши предки, получив известие об оскорблении, нанесенном римским гражданам, о задержании наших судовладельцев<sup>134</sup>, об ограблении наших купцов! Но на задержание их я уже не жалуюсь, с их ограблением приходится мириться; но ведь купцы, после того как у них отняли корабли, рабов и товары, были брошены в тюрьму, и там римские граждане были казнены — вот в чем я обвиняю Верреса! (150) Если бы я, описывая столь многочисленные и столь жестокие казни римских граждан, говорил это перед скифами, а не здесь, перед таким большим собранием римских граждан, не перед сенаторами — цветом наших граждан, то я все же растрогал бы даже варваров. Ибо так обширна наша держава, так велико достоинство, в представлении всех народов связанное с именем римлянина, что твоя жестокость по отношению к нашим соотечественникам не может показаться дозволенной кому бы то ни было. Могу ли я теперь думать, что у тебя есть какая-либо надежда на спасение и какое-либо прибежище, когда вижу тебя во власти сурового суда, как бы попавшимся в сети собравшихся толп римского народа? (151) Если ты — этой возможности я не допускаю — освободишься из этих пут и выскользнешь из них при помощи какого-нибудь средства или уловки, то ты, клянусь Геркулесом, попадешь в еще более крепкие тенета<sup>135</sup>, причем опять-таки я, выступив с более высокого места<sup>136</sup>, уничтожу и добью тебя. В самом деле, даже если бы я и согласился принять его оправдания, все же его ложное оправдание само по себе было бы для него не менее губительным, чем мое справедливое обвинение. Что же говорит он в свое оправдание? Что он задерживал беглецов из Испании и казнил их. А кто позволил тебе это? По какому праву ты это сделал? Кто еще так поступал? Почему и как это было тебе разрешено? (152) Мы видим, что такие люди заполняют форум и басилики [и видим это совершенно спокойно]. Ведь надо считать счастливым исходом гражданской смуты, или безумия, или роковых событий, или бедствия, когда можно сохранить невредимыми хотя бы уцелевших граждан. Веррес, в прошлом предавший своего консула, оказавшийся во время своей квестуры перебежчиком и расхитителем казенных денег, присвоил себе такую власть в деле управления государством, что тех людей, которым сенат, римский народ, все должностные лица предоставили право бывать на форуме, подавать голос, находиться в этом городе, в пределах нашего государства, всех обрекал на мучительную и жестокую казнь, если судьба приводила их к берегам Сицилии.

(153) После того как Перпенна был казнен<sup>137</sup>, очень многие солдаты Сертория перебежали к Гнею Помпею, прославленному и храбрейшему мужу. Кого из них

не постарался он сохранить здравым и невредимым? Какому гражданину, умолявшему его о пощаде, не протянул он в залог безопасности своей непобедимой руки и кому только не подал он надежды на спасение? Разве это не так? И этих людей, находивших прибежище у того, против кого они пошли с оружием в руках, у тебя, никогда не заботившегося о благе государства, ожидала мучительная смерть?

(LIX) Смотри, какой удачный способ защиты ты придумал! Я бы предпочел, — клянусь Геркулесом — чтобы суды и римский народ согласились с тем, что ты приводишь в свое оправдание, а не с тем, в чем тебя обвиняю я. Повторяю, я бы предпочел, чтобы тебя считали недругом и врагом тем людям, о которых я упомянул, а не купцам и судовладельцам. Ибо мое обвинение изобличает тебя в необычайной алчности, твоя попытка оправдаться — в каком-то бешенстве, свирепости, неслыханной жестокости и, можно сказать в новой прокрипции<sup>138</sup>.

(154) Но воспользоваться этим преимуществом мне нельзя, судьи, как оно ни велико. Нельзя. Ведь здесь в сборе все Путеолы<sup>139</sup> В полном составе приехали на суд все купцы, богатые иуважаемые люди; они заявляют, что из их сотоварищей, из их вольноотпущенников, далее из вольноотпущенников этих последних одни были ограблены и брошены в тюрьму, [другие умерщвлены в тюрьме,] третья обезглавлены. Смотри, как справедлив к тебе я буду при этом. Когда я представлю Публия Грания как свидетеля, когда он скажет, что ты отрубил головы его вольноотпущенникам, и потребует от тебя свой корабль и свои товары, опровергай тогда его заявление, если сможешь. Я откажусь от него как от свидетеля; я встану на твою сторону, повторяю, я тебе помогу; доказывай тогда, что эти люди были у Сертория, что их отнесло в сторону Сицилии во время их бегства из Диания. Докажи это. Для меня это даже более чем желательно; ибо невозможно найти преступление, которое бы заслуживало более суровой кары, и за него тебя необходимо привлечь к суду. (155) Я снова вызову римского всадника Луция Флавия, если захочешь; при первом слушании дела ты ни одному из свидетелей не задал вопроса; как говорят твои защитники, ты сделал это от своего, так сказать, большого — правда, в новом роде — ума, но на самом деле, как все понимают, ты поступил так ввиду сознания своих преступлений и убедительности показаний моих свидетелей. Пусть Флавия, если захочешь, спросят, кто такой был тот Тит Геренний, который, по его словам, держал меняльную лавку в Лепте<sup>140</sup>. Хотя более ста римских граждан из сиракузского конвента не только удостоверяло его личность, но и защищало его, умоляя тебя в слезах, ты все же в присутствии жителей Сиракуз велел отрубить ему голову. Я хочу, чтобы ты опроверг показания и этого моего свидетеля, доказал и подтвердил, что этот Геренний был в войске Сертория.

(LX, 156) Что сказать мне о том множестве людей — о тех, кого, с закутанными головами, в числе пленных пиратов вели на казнь? Что за необычная осторожность! С какой целью ты ее придумал? Быть может, громкие сетования Луция Флавия и других людей о Тите Гереннии встревожили тебя?

Или важное значение высказываний Марка Анния, достойнейшего и весьма уважаемого мужа, заставило тебя быть более осмотрительным и робким? Ведь он как свидетель недавно показал, что ты велел отрубить голову не кому-то пришельцу, не чужеземцу, а римскому гражданину, известному всем членам того конвента и родившемуся в Сиракузах. (157) После того как народ стал громко выражать свое негодование, когда все шире стали распространяться разные толки и жалобы, Веррес начал действовать, правда, не более мягко, — он по-прежнему казнил людей — но более осмотрительно. Он распорядился, чтобы римских граждан выводили на казнь, закутав им голову; все же он казнил их у всех на глазах потому, что члены конвента, как я уже говорил, очень точно вели счет морским разбойникам.

И такая участь, в твою претуру, была уготована римскому плебсусу<sup>141</sup>? И это ожидало людей, занимающихся торговлей? Вот что угрожало их гражданским правам и жизни? Разве и без того мало неизбежных опасностей грозит купцам на их пути от превратностей судьбы, чтобы их ожидали еще также и эти ужасы со стороны наших должностных лиц и к тому же в наших провинциях? Для того ли существовала эта ближайшая к городу Риму и верная ему провинция, населенная множеством честнейших союзников и весьма уважаемых граждан, всегда с величайшей охотой принимавшая у себя всех римских граждан, чтобы люди, приезжавшие сюда по морю даже из отдаленной Сирии и Египта и даже у варваров пользовавшиеся некоторым уважением благодаря своей тоге, спасшись от засад со стороны морских разбойников и от опасных бурь, умирали под секирой в Сицилии, когда они уже думали, что достигли своего дома?

(LXI, 158) Далее, что сказать мне, судьи, о Публии Гавии из муниципия Консы<sup>142</sup>? Или, лучше, сколь мощным голосом, какими убедительными словами я должен говорить? Как выразить мне свою душевную скорбь? Глубока моя скорбь, и мне следует приложить усилия, чтобы в моей речи все соответствовало важности предмета, соответствовало глубине моей скорби. Эта статья обвинения такова, что я, когда мне о ней сообщили, воспользоваться ею не хотел. Хотя я и понимал, что эти сведения вполне соответствуют истине, я все же думал, что мне не поверят. Под влиянием слез всех римских граждан, ведущих дела в Сицилии, из уважения к свидетельским показаниям жителей Валенции, весьма уважаемых людей, и всех жителей Регия, а также и многих римских всадников, в ту пору случайно находившихся в Мессане, я, при первом слушании дела, представил столько свидетелей, что никто не может сомневаться в том, что это так и было.

(159) Что мне теперь делать? Я уже столько часов говорю о действиях одного и того же рода и о нечестивой жестокости Верреса; я уже истратил на другие вопросы почти всю силу своей речи, стараясь по достоинству оценить его злодеяния, и не позабылся о том, чтобы удержать ваше внимание разнообразием статей обвинения. Как же говорить мне о таком важном деле? Мне думается, есть только один способ и один путь; я расскажу вам о самом факте; он настолько убедителен сам по себе, что не нужно ни моего красноречия,

которым я не обладаю, ни чьего бы то ни было дара слова, для того, чтобы потрясти вас до глубины души.

(160) Этот Гавий из Консы, о котором я говорю, брошенный Верресом в тюрьму в числе других римских граждан, каким-то образом тайно бежал из Каменоломен и приехал в Мессану; уже перед его глазами была Италия и стены Регия, населенного римскими гражданами. И после страха смерти, после мрака, он, возвращенный к жизни как бы светом свободы и каким-то дуновением законности, начал в Мессане жаловаться, что он, римский гражданин, был брошен в тюрьму; он говорил, что едет прямо в Рим и будет к услугам Верреса при его прибытии из провинции. (LXII) На свою беду, он не понимал, что совершенно безразлично, говорит ли он это в Мессане или же в присутствии Верреса в преторском доме. Ибо, как я уже вам доказал, Веррес избрал этот город своим пособником в злодействах, укрывателем награбленного им и соучастником во всех гнусных поступках. Поэтому Гавия тотчас же отвели к мамертинскому должностному лицу, а в тот же день Веррес случайно приехал в Мессану. Ему доложили об этом случае: римский гражданин заявляет жалобу, что он находился в сиракузских Каменоломнях; он, уже садясь на корабль и произнося страшные угрозы против Верреса, был задержан местным должностным лицом<sup>143</sup> и заключен под стражу, чтобы сам претор мог поступить с ним по своему усмотрению.

(161) Веррес выразил властям свою благодарность и похвалил их за благожелательное отношение к нему и бдительность. Сам он, вне себя от преступной ярости, пришел на форум; его глаза горели; все его лицо дышало бешенством<sup>144</sup>; все ждали, до чего он дойдет и что станет делать, как вдруг он приказывает притащить Гавия сюда, раздеть его посреди форума, привязать к столбу и приготовить розги. Несчастный кричал, что он — римский гражданин из муниципия Консы, что он служил под началом Луция Реция, известнейшего римского всадника, который ведет дела в Панорме и может подтвердить это Верресу. Тогда Веррес заявил, что, по его сведениям, Гавий послан в Сицилию предводителями беглых рабов как соглядатай; между тем ни доноса, ни каких бы то ни было признаков подобного дела, ни подозрений не имелось. Затем он приказал всем ликторам сечь Гавия без всякой пощады. (162) В Мессане посреди форума, судьи, секли розгами римского гражданина, но, несмотря на все страдания, не было слышно ни одного стона этого несчастного и, сквозь свист розог, слышались только слова: "Я — римский гражданин". Этим напоминанием о своих гражданских правах он думал отвратить от себя удары розог и избавиться от распятия на кресте. Но ему не только не удалось добиться этим прекращения порки, но, в то время он усиленно умолял и продолжал взывать к правам римского гражданина, ему уже готовили крест, повторяю, крест для этого несчастного и замученного человека, никогда ранее не видевшего этого омерзительного орудия казни.

(LXIII, 163) О, сладкое имя свободы! О, великое право нашего государства! О, Порциев закон, о, Семпрониевы законы<sup>145</sup>! О, вожделенная власть народных трибунов, наконец, возвращенная римскому плебсусу<sup>146</sup>! Так ли низко пали все эти установления, что римского гражданина в провинции римского народа, в союзном городе могли на форуме связать и подвергнуть порке розгами по приказанию человека, получившего связки и секиры в знак милости римского народа? Как? Когда разводили огонь и приготавляли раскаленное железо и другие орудия пытки, тебя не заставили опомниться если не отчаянные мольбы и страдальческие возгласы твоей жертвы, то хотя бы плач и горестные сетования римских граждан? И ты осмелился распять человека, называвшего себя римским гражданином?

Я не хотел с такой резкостью говорить об этом при первом слушании дела, судьи, я этого не хотел. Ведь вы заметили, как возбуждена была толпа против Верреса, движимая душевной болью, ненавистью и страхом перед угрожающей всем опасностью. Тогда я и мой свидетель, видный римский всадник Гай Нумиторий, проявили сдержанность в своей речи и я обрадовался поступку Мания Глабриона, который, весьма разумно, вдруг прервал заседание во время допроса моего свидетеля: он не без основания боялся, что римский народ расправится с Верресом самочинно, опасаясь, что тот избегнет кары благодаря законам и вашему приговору. (164) Но теперь, когда твое положение и ожидающая тебя часть ясны всем, я буду обвинять тебя уже по-иному: я докажу, что этот Гавий, оказавшийся, по твоим словам, соглядатаем, был брошен тобой в сиракузские Каменоломни, и докажу это не только на основании списков жителей Сиракуз; иначе ты, пожалуй, скажешь, что я — ввиду того, что в списках значится какой-то Гавий, — нарочно выбрал это имя, дающее мне возможность сказать, что этот Гавий и есть то самое лицо, о котором я говорил; нет; я вызову свидетелей, скольких ты потребуешь, и они покажут, что этот Гавий и есть то самое лицо, которое ты бросил в сиракузские Каменоломни. Я вам представлю и жителей Консы, его земляков и друзей, которые заявят, — для тебя, правда, теперь уже поздно, но для судей еще своевременно — что тот Публий Гавий, которого ты распял, был римским гражданином и жителем муниципия Консы, а не соглядатаем из шайки беглых рабов.

(LXIV, 165) На основании свидетельских показаний, установив с несомненностью все эти факты, о которых я говорю, я затем буду держаться в пределах только того, что ты сам предоставляешь в мое распоряжение. Я вполне удовлетворюсь и этим. В самом деле, что заявил ты недавно, когда, встревоженный криками и негодованием римского народа, ты вскочил со своего места? Что ты тогда сказал? Что Гавий только для того и вопил, что он — римский гражданин, чтобы добиться отсрочки своей казни, но в действительности он был соглядатаем. Значит, мои свидетели говорят правду. Что говорит Гай Нумиторий, что говорят Марк и Публий Коттий, очень известные люди из округа Тавромения, что говорит Квинт Лукций, державший большую меняльную лавку в Регии, что говорят другие? Ведь свидетели,

представленные мной до сего времени, не говорили, что они знали Гавия лично, но — что они видели, как человека, во всеуслышание называвшего себя римским гражданином, распинали. Это же самое и ты говоришь, Веррес, это же и ты признаешь: он восклицал, что он — римский гражданин. И звание гражданина для тебя, очевидно, не имело никакого значения, раз ты ничуть не поколебался в своем намерении распять его и не отложил хотя бы на долгое его жесточайшей и позорнейшей казни.

(166) Вот чем руководствуюсь я, вот чего я строго держусь, судьи! Мне достаточно одного этого; прочее я опускаю и оставляю в стороне. Верреса неотвратимо опутывает и уничтожает его собственное признание. Ты не знал, кто он; ты подозревал, что он — соглядатай. Не спрашиваю тебя о твоих подозрениях, обвиняю тебя на основании твоих же слов: он себя называл римским гражданином. Если бы тебя, Веррес, схватили в Персии или в далекой Индии и повели на казнь, что стал бы ты кричать, как не то, что ты — римский гражданин? И в то время как это прославленное и всем известное звание римского гражданина должно было бы спасти тебя даже среди не знающих тебя и незнакомых тебе людей, среди варваров, среди народов, живущих на краю света, этот человек, — кто бы он ни был — которого ты влек на крест, который был тебе незнаком, не мог, хотя и называл себя римским гражданином, хотя и ссылался на свои гражданские права и упоминал о них, добиться от тебя, претора, если не избавления от смерти, то хотя бы отсрочки казни.

(LXV, 167) Простые незаметные люди незнатного происхождения, путешествуя по морям, приезжают в местности, которых они никогда не видели раньше, где они незнакомы тем, к кому они приехали, и где они не всегда могут сослаться на людей, которые могли бы удостоверить их личность. И все же они, полагаясь на свои права римского гражданства, уверены в своей безопасности не только перед нашими должностными лицами, ответственными и перед законом и перед всеобщим мнением, и не только среди римских граждан, которых объединяют язык, право и общие интересы, но и везде, куда бы они ни приехали. (168) Отними у римских граждан эту надежду, этот оплот; установи за правило, что слова: "Я — римский гражданин" — бесполезны, что претор или любое другое лицо может безнаказанно, под предлогом, что не знает, кто перед ним находится, подвергнуть любой казни человека, называющего себя римским гражданином, и тогда все провинции, все царства, все независимые городские общины<sup>147</sup>, одним словом, весь мир, который всегда был открыт и доступен для наших соотечественников, ты, этим своим утверждением, для римских граждан закроешь.

Далее, если Гавий ссылался на римского всадника Луция Реция, который тогда жил в Сицилии, неужели было трудно написать в Панорм? Ты мог отдать Гавия под стражу своим друзьям-мамертинцам, держать его в тюрьме в оковах до приезда Реция из Панорма; если бы он удостоверил личность Гавия, ты мог бы несколько смягчить наказание; если бы оказалось, что он его не знает, тогда

ты, если бы признал нужным, мог бы установить правило, что человек, неизвестный тебе и не представляющий надежного поручителя, даже если этот человек — римский гражданин, подлежит казни на кресте.

(LXVI, 169) Но зачем мне продолжать говорить о Гавии, словно ты только Гавию гибель принес, а имени наших граждан, всем им в целом и их правам врагом не был? Не ему, повторяю, был ты недругом, но общему делу свободы. В самом деле, когда мамертинцы, согласно своему обычаю и правилу, стали водружать крест за городом, на Помпейской дороге<sup>148</sup>, зачем понадобилось тебе приказывать, чтобы его водрузили на той части ее, которая обращена к проливу, и прибавлять то, что ты во всеуслышание сказал в присутствии всех и чего ты никак не можешь отрицать: ты выбираешь это место для того, чтобы Гавий, коль скоро он называет себя римским гражданином, мог с креста видеть Италию и смотреть на свой дом? И вот, это был единственный крест, судьи, водруженный в этом именно месте со времени основания Мессаны. Веррес для того и выбрал это место на берегу, обращенном к Италии, чтобы Гавий, умирая в страданиях и мучениях, понял, что между рабским состоянием и правами свободного гражданина лежит только очень узкий пролив, и чтобы Италия видела, что ее питомец подвергнут жесточайшей и позорнейшей казни, предназначенной для рабов. (170) Заковать римского гражданина — преступление; подвергнуть его сечению розгами — злодеяние; убить его, — можно сказать, братоубийство<sup>149</sup>, как же назвать мне распятие его<sup>150</sup>? Столь нечестивому поступку нет названия. Но Верресу и всего этого было мало. "Пусть Гавий, — сказал он, — смотрит на свою родину; в виду законов и свободы пусть умирает он!" В этом месте ты не Гавия, ты не первого попавшегося тебе человека [римского гражданина], а всеобщую свободу и наши гражданские права обрек на муки и на распятие. Далее, обратите внимание на безумную дерзость Верреса! Не было ли ему, по вашему мнению, досадно, что этого креста, предназначенного им для римских граждан, он не может водрузить на форуме, на комиции, на рострах<sup>151</sup>? Ведь он выбрал в своей провинции именно такое место, которое многолюдностью своей может более всего напоминать именно эти места и, кроме того, расположено к нам ближе любого другого: он хотел, чтобы памятник его злодейства и дерзости находился в виду Италии, в преддверии Сицилии, на пути всех тех, кто плывет на кораблях в обоих направлениях.

(LXVII, 171) Если бы я захотел скорбеть об этом событии и оплакивать его не в присутствии римских граждан, тех или иных друзей нашего государства, людей, слышавших имя римского народа, наконец, если бы я обращался не к людям, а к диким зверям или даже — чтобы пойти дальше — если бы я в глубине пустынь обратился к скалам и утесам, то даже вся немая и неодушевленная природа была бы потрясена такой страшной, такой возмутительной жестокостью. Но теперь, говоря перед сенаторами римского народа, блюстителями законов, правосудия и права, я не должен сомневаться в вашем приговоре: только один, этот вот гражданин будет признан вами достойным казни на кресте, а ко всем другим она не применима. (172) Совсем

недавно, судьи, мы не могли сдержать своих слез, слыша о горестной и незаслуженной казни навархов, и с полным основанием скорбели о несчастье, постигшем наших ни в чем не повинных союзников. Что же должны мы делать теперь, когда проливается наша собственная кровь? Да, надо считать, что все римские граждане связаны друг с другом кровно; ибо этого требует наше всеобщее благополучие и это соответствует истине. Все римские граждане, как присутствующие, так и отсутствующие, где бы они ни находились, требуют от вас суворости, взывают к вашей справедливости, ищут у вас помощи; все их права, благополучие и оплот, наконец, вся их свобода, по их мнению, зависят от вашего приговора.

(173) Хотя я и сделал достаточно много, все же, если исход событий не оправдает моих ожиданий, я сделаю для римских граждан, быть может, больше, чем они просят. Ибо если какая-нибудь сила избавит Верреса от суворости вашего приговора, — хотя я этого не боюсь, судьи, и совершенно не допускаю такой возможности — итак, если окажется, что я ошибся в своих расчетах, тогда сицилийцы, конечно будут сетовать на то, что проиграли свое дело; я вполне разделю их огорчение, а римский народ, так как он дал мне возможность обратиться к нему с речью, своим голосованием, на основании моей жалобы, вскоре отстоит свои права еще до февральских календ<sup>152</sup>. А если вы захотите позаботиться о моей славе и известности, судьи, то я, пожалуй, не имел бы ничего против того, чтобы Веррес был вырван у меня вашим судебным приговором и сохранен для суда римского народа. Блестящее это будет дело, богатое доказательствами и легкое для меня, а народу оно придется по сердцу и будет приятно. Наконец, если кто-нибудь думает, что я пожелал выдвинуться в связи с делом одного Верреса, — к чему я отнюдь не стремился — то в случае его оправдания, которое невозможно без преступлений многих людей<sup>153</sup>, я смогу еще более выдвинуться, выступая по многим судебным делам.

(LXVIII) Но, клянусь Геркулесом, для вашей же пользы, судьи, и для блага государства я не хочу, чтобы в этом отобранном совете судей произошло столь позорное событие; не хочу, чтобы эти судьи, одобренные и отобранные мной<sup>154</sup>, в случае оправдания Верреса, ходили по этому городу заклейменные, покрытые не воском, а грязью<sup>155</sup>. (174) Поэтому предостерегаю также тебя, Гортенсий, — если только есть какая-нибудь возможность предостерегать с этого места — подумай хорошенько и взвесь, что ты делаешь, куда идешь, кого и на каком основании защищаешь. И я отнюдь не препятствую тебе состязаться со мной твоим дарованием и всем твоим ораторским искусством; но если ты рассчитываешь тайком применить вне суда какие-либо средства [воздействия на суд], если ты думаешь достигнуть чего-нибудь уловками, хитростью, могуществом, влиянием, богатством подсудимого, то я настоятельно советую тебе отказаться от своего намерения, а попытки, уже предпринятые Верресом, но обнаруженные и разгаданные мной, советую тебе пресечь, а в дальнейшем не давать им ходу. Всякий промах в этом судебном деле будет весьма опасен для тебя, более опасен, чем ты думаешь. (175) Если ты полагаешь, что тебе уже

нечего бояться мнения людей, так как ты уже занимал почетные должности и являешься избранным консулом<sup>156</sup>, то — поверь мне — сохранить эти почести и милости римского народа не менее трудно, чем их снискать. Государство наше, пока могло, пока это было неизбежно<sup>157</sup>, терпело вашу, прямо-таки царскую власть в судах и во всех государственных делах<sup>158</sup>; да, оно терпело ее, но в тот день, когда римскому народу были возвращены народные трибуны, вся эта ваша власть — если вы, быть может, этого еще не понимаете — была отнята и вырвана у вас из рук. И теперь, вот в это именно время, глаза всех людей обращены на каждого из нас — честно ли я обвиняю Верреса, добросовестно ли судьи вынесут ему приговор, какими средствами ты его защищаешь. Если кто-либо из нас сколько-нибудь уклонится от прямого пути, то последует не молчаливая оценка нашего поведения, которую вы до сего времени презирали, а строгий и независимый приговор римского народа. (176) Тебя, Квинт<sup>159</sup>, не связывают с Верресом ни родство, ни дружеские отношения. Оправданиями, к каким ты однажды старался прибегать, защищая свое несколько излишнее рвение во время одного судебного дела, ты в отношении этого подсудимого воспользоваться не можешь; тебе вот о чем следует всемерно заботиться, чтобы те слова Верреса, которые он во всеуслышание повторил в провинции, — что он позволяет себе все эти злоупотребления, всецело рассчитывая на твою защиту, — чтобы эти слова не оправдались.

(LXIX, 177) Что касается меня, то даже все мои величайшие недоброжелатели, несомненно, полагают, что я долг свой исполнил. Ибо, при первом слушании дела, я в течение нескольких часов добился того, что всеобщее мнение признало Верреса виновным. В дальнейшем речь будет не о моей верности долгу (она во всем видна), не о жизни Верреса (она всеми осуждена), а о поведении судей и, сказать правду, о тебе самом. И при каких обстоятельствах это произойдет? Ведь именно это требует самого пристального внимания; ибо в делах государственных, как и во всех других, очень важно общее положение вещей и направление, в котором развиваются события. Это ведь произойдет в то время, когда римский народ станет привлекать к участию в суде других людей и другое сословие, — после того, как уже объявлен закон о новых судах и судьях<sup>160</sup>. И закон этот объявил не тот человек, от чьего имени он, как вы видите, составлен; нет, этот вот подсудимый, повторяю, этот подсудимый, своими расчетами и мнением, какое у него сложилось о вас, приложил усилия к тому, чтобы этот закон был составлен и объявлен. (178) И вот, когда начиналось первое слушание дела, закон объявлен еще не был; в то время, когда Веррес, встревоженный вашей строгостью, не раз давал понять, почему он не склонен являться в суд, о законе еще не было и речи; но после того как к Верресу, казалось, вернулись силы и уверенность, закон тотчас же был объявлен. Если чувство вашего достоинства всячески противится изданию этого закона, то всего сильнее говорят за него ложные надежды и необычайное бесстыдство Верреса. Если кто-нибудь из вас совершил в этом случае что-нибудь предосудительное, то либо римский народ вынесет свой приговор о таком человеке, которого он уже ранее признал недостойным участвовать в правосудии, либо это сделают те люди,

которые станут новыми судьями на основании нового закона и будут судить прежних судей за нарушение правосудия

(LXX, 179) Что касается меня, то, даже если я и не скажу, все равно всякий поймет, что мне необходимо вести дело до конца. Но смогу ли я молчать, Гортенсий, смогу ли притвориться безучастным, когда окажется, что государству нанесена такая глубокая рана, если то, что разорены провинции<sup>161</sup>, замучены наши союзники и бессмертные боги ограблены, а римские граждане распяты на крестах и истреблены, пройдет Верресу безнаказанно, несмотря на то, что дело вел я? Смогу ли я сложить с себя столь тяжкое бремя в этом суде или продолжать нести его молча? Не будет ли моим долгом вести преследование, предать дело гласности, умолять римский народ о правосудии, обвинить и привлечь к ответственности и к суду всех тех, которые запятнали себя таким преступлением, что либо сами позволили подкупить себя, утратив честь, либо подкупили судей?

(180) Кто-нибудь, быть может, спросит: "И ты готов взять на себя такой большой труд, навлечь на себя такую сильную неприязнь стольких людей?" Делаю это, клянусь Геркулесом, не по особой склонности и не по доброй воле; но мне нельзя поступать так, как можно поступать тем, кто происходит из знатных родов и кому все милости римского народа достаются во время сна<sup>162</sup>. Совсем по другим правилам и в других условиях приходится мне жить в нашем государстве. Вспоминаю я Марка Катона, мудрейшего и прозорливейшего человека: сознавая, что не происхождение, а доблесть его может расположить к нему римский народ, желая, вместе с тем, чтобы его род приобрел имя, начиная с него, и чтобы это имя стало широко известным, он вступил во вражду с влиятельнейшими людьми и в величайших трудах прожил до глубокой старости с необычайной славой<sup>163</sup>. (181) А впоследствии, разве Квинт Помпей<sup>164</sup>, происходя из незначительного и малоизвестного рода, не достиг высших почестей, преодолев неприязнь очень многих людей, величайшие опасности и лишения? Недавно мы были свидетелями того, как Гай Фимбрания<sup>165</sup>, Гай Марий<sup>166</sup> и Гай Целий<sup>167</sup> напрягали силы в далеко не легкой борьбе с недругами, чтобы ценой трудов добиться тех почестей, каких вы достигаете шутя и без забот<sup>168</sup>. По этому же самому направлению и пути следую я в своей деятельности; правила этих людей я ставлю себе в пример.

(LXXI) Мы видим, какую зависть и ненависть вызывают у некоторых знатных людей доблесть и трудолюбие новых людей. Стоит нам сколько-нибудь ослабить свое внимание — и козни против нас готовы, стоит нам дать малейший повод к подозрению или обвинению — и нам тотчас же наносят рану. Мы видим, что нам всегда надо быть настороже, всегда надо трудиться<sup>169</sup>. (182) Нападки надо терпеть, за всякое трудное дело — браться, причем безмолвной и тайной неприязни следует бояться больше, чем объявлений и открытой. Среди знатных людей нашим усилиям, можно сказать, не сочувствует ни один. Снискать их расположение мы не можем никакими заслугами. Они так далеки от нас по

своему духу и стремлениям, словно природа создала их не такими, как мы. Стоит ли поэтому тревожиться из-за исконной зависти и неприязни, существовавших еще до того, как ты столкнулся с каким-либо проявлением их?

(183) Итак, судьи, я, правда, очень хочу, чтобы мне после этого судебного дела, когда я выполню и свой долг перед римским народом и поручение, возложенное на меня моими друзьями-сицилийцами, уже более никого обвинять не пришлось<sup>170</sup>, но для меня дело решенное: если мое мнение о вас окажется ошибочным, я буду преследовать не только главных виновников подкупа суда, но и людей, запятнанных соучастием в этом подкупе. Итак, если есть люди, которым угодно в деле этого подсудимого проявить свое могущество или дерзость, или свое искусство в подкупе суда, то пусть они будут готовы — когда дело будет разбирать римский народ, — иметь дело со мной; и если они нашли меня достаточно упорным, достаточно настойчивым, достаточно бдительным в деле этого подсудимого, чьим противником сицилийцы поручили мне быть, то пусть они поймут, что по отношению к тем людям, вражду которых я навлеку на себя, служа благополучию римского народа, я буду гораздо более настойчив и более крут. (LXXXII, 184) Теперь я умоляю и призываю тебя, Юпитер Всеблагой Величайший! Принесенный тебе царский дар, достойный твоего великолепного храма, достойный Капитолия — этого оплата всех народов, достойный подарок царя, изготовленный для тебя царями, тебе предназначенный и обещанный, Веррес, совершив нечестивое святотатство, вырвал из рук царя<sup>171</sup>; твою священнейшую и великолепнейшую статую он похитил из Сиракуз; умоляю и призываю тебя, царица Юнона, чьи два священнейших и древнейших храма, находящихся на двух островах наших союзников — на Мелите и на Самосе, тот же Веррес лишил всех даров и украшений; и тебя, Минерва, которую он ограбил также в двух прославленных и глубоко почитаемых храмах: в Афинах, где он похитил огромное количество золота, и в Сиракузах, где он не оставил в целости ничего, кроме кровли и стен; (185) и вас, Латона, Аполлон и Диана, вас, чье святилище на Делосе, нет, даже не святилище, а, как гласит предание, древнюю обитель и божественное жилище этот разбойник ограбил, ворвавшись в него ночью; также и тебя, Аполлон, чье изображение он похитил на Хиосе, и снова и снова, Диана, тебя, ограбленную им в Перге, тебя, чью глубоко чтимую в Сегесте статую, вдвойне священную для сегестинцев — и как предмет религиозного почитания и как победный дар Публия Африканского — он велел снять и увезти; и тебя, Меркурий, чью статую Веррес поставил в доме и на палестре частного лица, а Публий Африканский хотел видеть в городе наших союзников, на гимнасии в Тиндариде, стражем и покровителем юношества; (186) и тебя Геркулес, чью статую в Агригенце Веррес в глухую ночь, набрав шайку вооруженных рабов, пытался сдвинуть с подножия и увезти; и тебя, священнейшая Матерь Идейская<sup>172</sup>, которую он в великолепном и глубоко почитаемом храме в Энгии обобразил и оставил в таком виде, что теперь сохранились только имя Публия Африканского и следы святотатства, а памятников победы и храмовых украшений до нас не дошло; и вас, посредники и свидетели всех судебных дел, важнейших совещаний, законодательства и

судопроизводства, находящиеся на самой многолюдной площади римского народа, — вас, Кастор и Поллукс<sup>173</sup>, чей храм он превратил в источник барыша и бесчестнейшей наживы; и вас, все боги, посещающие — когда вас привозят на тенсах — ежегодные празднества во время игр<sup>174</sup>; ведь это его заботами ваша дорога была устроена и вымощена в соответствии с его выгодой, а не торжественностью обрядов; (187) и вас, Церера и Либера, чьи обряды, по мнению и по верованиюм людей, основаны на важнейших и заветнейших священнодействиях, вас, давших и распределивших между людьми и их общинами начала животворной пищи, обычаев и законов, кротости и человечности; вас, чьи обряды римский народ, заимствовав и переняв их у греков, хранит и в своей общественной и в своей частной жизни с таким благоговением, что они уже кажутся перешедшими не от греков к нам, а от нас к другим народам<sup>175</sup>, на священнодействия эти один только Веррес посягнул и тяжко оскорбил их, велев снять с цоколя и увезти из святилища в Катине статую Цереры, к которой ни один мужчина не смел прикасаться; нет, даже увидеть ее было нарушением божественного закона; другую статую Цереры он забрал из ее обители в Энне, а это была такая статуя, что люди, видевшие ее, думали, что видят самое Цереру или же изображение Цереры, не созданное человеческими руками, а спустившееся с неба; (188) снова и снова умоляю и призываю вас, глубоко почитаемые богини, обитающие у озер и в рощах Энны, покровительницы всей Сицилии, порученной моей защите; ведь вы дали всему миру обретенные вами хлебные злаки, и все племена и народы благоговейно чтят вашу волю; равным образом умоляю и заклинаю всех других богов и богинь, с чьими храмами и обрядами Веррес, обуянный каким-то нечестивым бешенством и преступной дерзостью, непрерывно вел кощунственную и святотатственную войну: если по отношению к этому обвиняемому и в этом судебном деле все мои помыслы были направлены на благо союзников, на величие римского народа, на мою верность своим обязательствам, если все мои заботы, бессонные ночи и мысли были посвящены только исполнению мной своего долга и служению добру, то пусть те же намерения, какие у меня были, когда я брался за это дело, и та же честность, с какой я его вел, руководят вами при вынесении вами приговора; (189) пусть Гая Верреса за его поистине неслыханные и исключительные деяния, порожденные преступностью, наглостью, вероломством, похотью, алчностью и жестокостью, в силу вашего приговора постигнет конец, достойный такого образа жизни и такого поведения, а наше государство и моя совесть пусть удовольствуются одним этим обвинением, чтобы впредь мне можно было защищать честных людей, а не обвинять преступных.

### ПРИМЕЧАНИЯ РЕЧЬ ПРОТИВ ГАЯ ВЕРРЕСА. О КАЗНЯХ.

1. Имеются в виду восстание рабов под руководством Спартака, господство пиратов на морях и третья война с Митридатом VI.
2. Об *императоре* см. прим. 70 к речи 1, об империи — прим. 90 к речи 1.

3. *"Место"* (*locus communis*) — технический термин: общее положение в риторике. См. Цицерон, "Оратор", § 122.
4. *Маний Аквилий*, проконсул Сицилии в 101-98 гг., подавивший восстание рабов, был в 98 г. обвинен в вымогательстве. Оратор *Марк Антоний*, консул 99 г., был убит марианцами в 87 г.
5. Афинион, вождь восставших сицилийских рабов, которого Маний Аквилий убил в рукопашном бою.
6. См. прим. 29 к речи 1.
7. Корнелиев закон 81 г. о вымогательстве Обвинение, поддерживаемое Цицероном, выходит за рамки иска по этому закону.
8. Когда силы Спартака прорвались из Регия, где они были окружены Марком Лицинием Крассом, и двинулись на север, Помпея вызвали из Испании, где он воевал против Сертория. Красс настиг войско рабов и нанес ему поражение в Лукании. Помпей истребил остатки их войска.
9. *Океаном* древние называли море, по их представлению, обтекающее всю сушу.
10. Имеются в виду восстания рабов Сицилии, происходившие в 134-132 гг. и в 104-101 гг.
11. Через несколько лет после Мания Аквилия. Он был консулом в 94 г.
12. *Союзническая*, или Италийская, или Марсийская, война (восстание союзников против Рима) 91-88 гг. *Гай Юний Норбан* был пропретором Сицилии в 91 г. и консулом в 83 г.
13. О конвенте римских граждан см. прим. 63 к речи 3.
14. Для наказания розгами, после чего рабов распинали на крестах (казнь "по обычаям предков"). Римским гражданам отсекали голову.
15. Ср. речь 7, § 10.
16. Обычная формула приговора. Ср. Ливий, XXV, 4.
17. Об узах гостеприимства см. прим. 3 к речи 1. *Аполлоний* мог принимать Цицерона во время его квестуры или во время его поездки по Сицилии для следствия по делу Верреса.
18. *Интердикт* — приказ претора, запрещавший какое-либо действие или предписывавший что-либо. Интердикту предшествовало расследование (*cognitio*).
19. *Секиры* были принадлежностью ликторов, почетной охраны магистратов, облеченные империем. См. прим. 126.
20. *Квинт Фабий Максим Кунктор*, герой второй пунической войны. См. Энний, "Анналы", фрагм. 360 Уормингтон:
- Нам один человек республику спас промедленьем.
21. Имеются в виду *Сципионы* — Старший и Младший, сын Луция Эмилия Павла Македонского, усыновленный сыном Сципиона Старшего.
22. В подлиннике игра слов: *lectus* ложе и *tectum* кров, дом; кроме того, сарказм, основанный на разных значениях слова *lectus* — ложе в спальне и ложе в столовой.
23. *Фавоний* — западный ветер. Ср. Гораций, Оды, I, 4, 1.
24. Сарказм Цицерона связан с обычаем римлян бросать на стол во время пира лепестки роз. Ср. Гораций, Оды, I, 36, 15.
25. О *лектике* см. прим. 95 к речи 1; о мелитских тканях — прим. 94 к речи 3.
26. См. прим. 96 и 100 к речи 3.
27. В Сицилии центрами судебных округов были Сиракузы, Агригент (Акрагант), Панорм, Лилибей и Тиндарида.
28. Ср. речь 1, § 89.
29. Ср. Энний, "Анналы", фрагм. 276 сл. Уормингтон:
- Всяк, кто ударит врага, Карфагена сочтен будет сыном,  
Кто бы, откуда бы родом он ни был.
- (Перевод Ф.Ф. Зелинского)
30. Греческий плащ, тем более пурпурный, и туника до пят (одежда женщин) были неприличны для римского магистрата. См. ниже, § 86, 137; речи 3, § 54; 10, § 22.
31. См. выше, § 3.
32. Во всем § 32 содержатся намеки на распутно проведенную молодость Верреса. Выражение *militia Veneris* (военная служба у Венеры) было общепринятым. Ср. Овидий, Amores, I, 9, 1 сл.

33. Т.е. в 74 г., когда Веррес был городским претором.
34. Консул или претор, перед выездом в провинцию или на войну, совершал в Капитолии *австрии* (вопросение воли богов), после чего приносил жертву богам и давал им обет (*pinsicratio votorum*); затем он надевал военный плащ (*paludamentum*), это было началом его военного империя, причем он терял право доступа в пределы померия (сакральная городская черта Рима).
35. *Флоралии*, праздник в честь богини Флоры, начинались 28 апреля.
36. Римские игры в честь капитолийских божеств Юпитера, Юноны и Минервы происходили с 5 по 19 сентября.
37. *Голосование в сенате*, т.е. высказывание сенатором его предложения, происходило по старшинству магистратов.
38. *Ius imaginum* — право хранить у себя в доме восковые маски предков. Эти маски несли во время похоронного шествия. Таким правом обладали курульные магистраты и их потомки.
39. Ср. речь 3, § 45.
40. По традиции со времен царя Сервия Туллия свободное население (ополчение) Рима делилось на 193 центурии, которые делились на пять классов по имущественному признаку. В каждом классе центурии делились на старшие (воины от 46 до 60 лет) и младшие (воины от 17 до 40 лет). Вероятно, в 221 г. была произведена реформа центуриатских комиций на основе территориального принципа в сочетании с цензовым — в соответствии с наличием 35 триб, каждая из которых была разделена на пять разрядов; разряд состоял из старшей и младшей центурий. Общее количество центурий определяется следующей формулой: (2 центурии x 5) x 35+18 центурий всадников +4 центурии ремесленников и музыкантов +1 центурия пролетариев =373 центурии.
41. В 74 г. как городской претор, обладающий юрисдикцией.
42. Ср. речь 3, § 7, 71, 123.
43. Город в Бруттии; в нем укрывались остатки войск Спартака.
44. *Vibo Valentia* (ранее Гиппон) — город в Бруттии, обычно назывался Вибоном.
45. *Триумф* — празднество в честь Юпитера Феретрийского, приуроченное к возвращению полководца после большой победы над внешним врагом, когда пало не менее 5000 врагов. В ожидании триумфа полководец находился в окрестностях Рима (*ad Urbem*) и должен был получить на день триумфа империй в Риме, о чем издавался куриатский закон. В шествии участвовали сенаторы и магистраты; за ними следовали трубачи; несли военную добычу и изображения взятых городов, вели белых быков для жертвоприношения и наиболее важных пленников в оковах. За ними, на триумфальной колеснице, запряженной четверкой белых коней, стоя ехал триумфатор с лавровой веткой в руке, с лицом, раскрашенным в красный цвет (как у древних статуй Юпитера); государственный раб держал над его головой золотой венок. Колесницу окружали ликторы, связки которых были увиты лавром. За ликторами следовали солдаты, иногда распевавшие песенки с насмешками над триумфатором. Процессия вступала в Рим через триумфальные ворота, проходила по Большому цирку, *forum boarium*, Велабру и по Священной дороге вступала на форум. У подъема на Капитолий пленников уводили и обычно казнили. В Капитолии триумфатор приносил жертву Юпитеру и слагал с себя венок. Его имя вносили в особые списки (*fasti triumphales*).
46. *Беллона* (Дуэллона) — богиня войны (культ ее, возможно, сабинского происхождения), впоследствии отождествленная с греческой Энио и восточным божеством луны. Храм Беллоны был на Марсовом поле; перед храмом стояла колонна (*columna bellica*), над которой фециал (прим. 54) метал копье в знак объявления войны. Культ кappадокийской Беллоны был перенесен в Рим при Сулле, после войны с Митридатом.
47. См. прим. 40 к речи 2.
48. Ср. речь 3, § 23.
49. *Кибея* (греч.) — большой грузовой корабль. *Трирема* (греч.) — военное судно с тремя, биррема — с двумя рядами весел.
50. Город в Лукании, на Тирренском море.

51. Клавдиея плебисцит 218 г. запрещал сенатору и сыну сенатора иметь корабль емкостью более 300 амфор (8 тонн). Корабль средней величины обладал емкостью около 2000 амфор.
52. См. речь 3, § 15. О представителях см. прим. 2 к речи 3.
53. Наместникам Сицилии, по-видимому, разрешалось реквизировать строевой лес на италийском берегу пролива.
54. *Фециалы* — жрецы бога верности (см. прим. 72 к речи 1), высшая инстанция в Риме по международному праву. В древнейшую эпоху ее глава (*pater patratus*) объявлял войну и заключал мир.
55. В 264 г. Мессана обратилась к Риму за помощью; это послужило поводом к первой пунической войне.
56. Имеется в виду *senatus consultum de ornandis provinciis praetorum* — постановление сената о предоставлении преторам, назначенным в провинции, денег, войска и всего необходимого для наместничества.
57. *Lex Cassia Terentia* — закон, проведенный в 73 г. консулами Гаем Кассием Варом и Марком Теренцием Варроном Лукуллом, о предоставлении римским гражданам зерна по дешевой цене и о принудительной покупке его в провинциях, в частности — в Сицилии.
58. *Lex censoria* — постановление цензора, определявшее ставки податей за пользование государственной землей (*ager publicus*); издавалось на пятилетие. См. письмо Q. fr., I, 1, 35 (XXX). См. вводное примечание к речи 7.
59. *Гиеронов закон* — положение о едином сельскохозяйственном налоге натурой в размере десятины, изданное сицилийским царем Гиероном II (269 — 215) и распространенное на всю Сицилию римлянами после завоевания ими Сицилии. См. "книгу" III, О хлебном деле.
60. По-видимому, поставки хлеба Сицилией определялись, помимо Кассиева-Теренциева закона, также и другими законами, возможно, законом Гая Гракха (*lex Sempronia frumentaria*), отмененным при Сулле.
61. Поговорка. Ср. Гораций, Оды, I, 35, 18; Петроний, Сатиры, § 75.
62. Имеется в виду компания откупщиков.
63. *Гай Лициний Сацердот* был наместником в Сицилии в 74 г.
64. *Секст Педуций* был наместником в Сицилии в 76-75 гг.
65. Упоминаемое Цицероном число представителей требовалось при разборе дела о вымогательстве.
66. См. речь 3, § 19 сл., 150 сл.
67. Риторическое преувеличение: такое заявление сделал один только Гей. См. речь 3, § 3 сл.
68. *Колонией* называлось военное поселение, основанное со стратегической целью, в силу закона, издававшегося в каждом отдельном случае, с предоставлением земли римским гражданам, сохранившим принадлежность к своим трибам (*colonia civium Romanorum*). Лица, которым поручалась вывести колонию (*curatores coloniae deducendae*), часто облекались империем и впоследствии становились патронами колонии. Другим видом колонии была латинская колония, которая составлялась из членов общин, входивших в латинскую федерацию: эти колонии существовали на основании латинского права (*ius Latii*). Третий вид колонии — колонии солдат-ветеранов, которым давали землю после увольнения их от службы.
69. О *муниципии* см. прим. 19 к речи 1. Это может относиться к муниципию, который еще до предоставления прав римского гражданства союзникам-италикам (по Юлиеву закону 90 г.) стал суверенной общиной (*civitas immunis et libera*).
70. См. ниже, § 86 сл.
71. Командир военного корабля или флота.
72. Такое положение существовало до Союзнической войны, когда италики считались союзниками (*socii*) и должны были выставлять вспомогательные войска (*auxilia*). Юлиев закон 90 г. дал им возможность вступать в римские легионы.
73. Экипаж военного судна состоял из матросов, гребцов и солдат.
74. Первый был квестором, второй — легатом Верреса.
75. Т.е. осудил на смерть.

76. *Публий Сервилий Исаврийский* (см. прим. 23 к речи 3) входил в совет судей.
77. При "морском триумфе" (прим. 45) трофеем являлись носовые части (тараны, ростры) вражеских кораблей. Трофей (греч.) воздвигался на месте, где враг был разбит, и посвящался божеству, "обращающему врага в бегство", — Зевсу, Гере, Афродите, Посейдону. Морской трофей сооружался на берегу. Римляне сооружали трофеи по окончании кампании. Первоначально это был столб, на который вешали оружие врага.
78. "Цари" — это Агафокл, объявивший себя царем Сиракуз в 306 г., после 11 лет тирании, и Гиерон II (269-216 гг.). "Тиранны" — это Дионисий Старший (см. ниже, § 143). В Каменоломнях содержались афиняне, взятые в плен во время их похода в Сицилию (415-413 гг.). См. ниже, § 98.
79. *Квинт Апроний* был агентом Верреса и участвовал в незаконных поборах с населения Сицилии. См. "книгу" III, О хлебном деле.
80. После убийства Сертория в 72 г. его войско было разбито Помпеем; уцелевшие солдаты разбрелись. Верресс мог сослаться на то, что серторианцы были вне закона как государственные преступники. См. ниже, § 146, 151.
81. По стадному обычаю, отжившему в I в. См. ниже, § 156 сл. Ср. речь 8, § 13.
82. *Миопарон* — легкое быстроходное военное судно.
83. *Марк Анний* — римский всадник, жил в Сиракузах.
84. См. ниже, § 113; речи 1, § 66; 3, § 74 сл., 14, § 76.
85. Это обстоятельство отягчало вину Верресса.
86. Во время триумфа колесница триумфатора поворачивала у храма Сатурна, где начинался подъем на Капитолий. Казнь пленных военачальников совершилась в подземелье Мамертинской тюрьмы.
87. Имеется в виду постоянный суд по делам об оскорблении величества римского народа. См. прим. 40 к речи 2.
88. Речь идет о хлебе для нужд претора и его когорты (*frumentum in cellam*). Мулы и палатки были нужны наместнику при разъездах. Возможно, что слова в квадратных скобках относятся к другому месту речи, так как упоминание о мулах, после того как говорилось о квесторе и легате, едва ли было уместным. Ср. речь 7, § 32.
89. *Префект-младший начальник*. О *военных трибунах* см. прим. 26 к речи 2.
90. По преданию, эти города были основаны выходцами из Трои. Ср. речь 3, § 72. *Сегеста* и *Центурипы* были суверенными городами, и потому их гражданин имел на командование флотом больше прав, чем сиракузянин Клеомен. Сиракузы были завоеванным городом. Ср. ниже, § 125.
91. Цицерон умалчивает о верности Сиракуз Риму во времена Гиерона II и о разграблении города, которое допустил Марк Марцелл, взяв Сиракузы в 212 г. См. Ливий, XXV, 31.
92. *Пахин* — мыс на юго-востоке Сицилии. Обычно морской переход от Сиракуз до Пахина продолжался двое суток.
93. *Одиссея* находилась вблизи Пахина, к западу.
94. *Гелор* находился на полупути между Пахином и Сиракузами.
95. *Локры* — греческая колония на юге Италии.
96. Корабль следовало вытащить на берег.
97. Имеется в виду случай, когда Веррессу, во время его легатства, угрожал самосуд населения города *Лампака*, вызванный его покушением на женскую честь и права гостеприимства. Претор провинции Африки Гай Фабий Адриан был в 83 г., в отместку за его жестокость, сожжен заживо римскими гражданами, жившими в этой провинции. См. "книгу" I (О городской претуре), § 68 сл.
98. Ср. речь 3, § 117 сл. *Форум* находился в Ахрадине.
99. Ср. речь 3, § 117.
100. Ораторское преувеличение. Это может относиться только к первой и второй пуническим войнам.
101. Имеется в виду взятие Сиракуз Марком Марцеллом в 212 г. Гавань была в руках у карфагенян; римляне действовали только на суше.

102. Цицерон преувеличивает численность афинского флота, посланного в Сицилию во время пелопонесской войны. Ср. Фукидид, VI, 31, 43, 70; VII, 16, 42.
103. См. ниже. § 188; речь 3, § 106.
104. См. выше, § 89. На палубу ставили метательные машины, большие корабли имели тараны.
105. *Adulescentes* — в Риме так называли мужчин в возрасте от 17 до 30 лет.
106. *Венки* (*coronae*) были видом военной награды: за спасение римского гражданина солдат награждался дубовым венком (*corona civica*); золотой венок с изображением зубцов стены давался первому, взошедшему на стену города (*c. muralis*); *c. castrensis* — первому, взошедшему на вражеский корабль.
107. По представлению римлян, души умерших, божества подземного мира. Культ манов охватывал обязанности живых членов рода и семьи по отношению к умершим.
108. О *преторской когорте* и *спутниках* см. прим. 91 к речи 3.
109. О *Тимархиде* см. речь 3, § 22, 35
110. Таков был обычай. Ср. Вергилий, "Энеида", IV, 684.
111. По представлению древних, души людей, оставшихся без погребения, в течение ста лет блуждают по берегу подземной реки Стикса, не находя себе покоя. См. Вергилий, "Энеида", III, 62; VI, 324 сл.
112. В подлиннике *suscipere*. Древний обычай: глава рода брал на руки новорожденного, положенного перед ним на землю, и тем самым признавал его членом рода. Отвергнутый ребенок мог быть отнесен в уединенное место и обречен на смерть. См. прим. 41 к речи 1.
113. Человек, укрывающийся в храме у алтаря, считался неприкосновенным. Ср. речь 16, § 11.
114. Ср. речь 3, § 22, 133.
115. Ср. Ливий, XXV, 40; Саллюстий, "Катилина", 10 сл., 20; "Югурта", 31; Ювенал, Сатиры, VI, 298 сл.; VII, 98 сл.
116. О *трауре* см. прим. 53 к речи 3.
117. См. прим. 38 к речи 2.
118. См. прим. 146 к речи 3.
119. Ср. Гомер, "Илиада", XVIII, 309:
- Общий у смертных Ареи; и разящего он поражает!  
(Перевод Н. И. Гнедича)
- Имеется в виду переменчивость боевого счастья. Ср. речи 18, § 12; 22, § 56; письма Att., VII, 8, 4 (CCXCVIII); Fam., VI, 4, 1 (DXLIV). Слова "*общая Венера*" — намек на Нику; см. выше, § 82, 101, 107.
120. Фалакр и Филарх.
121. Марк Цецилий Метелл, избранный в преторы на 69 г., брат Луция Метелла, назначенного в качестве наместника Сицилии на 69 г.
122. Т.е. в провинции плодородной и обильной хлебом.
123. Как бывшего квестора в Лилибее и в силу уз гостеприимства.
124. О *рабах Венеры Эрицинской* см. прим. 42 к речи 3.
125. Устная процедура перед судом или рекуператорами (коллегия, разбиравшая тяжбы о материальном ущербе), самостоятельная или же предваряющая вчинение иска. При *спонсии* доказывался или опровергался тот или иной факт, давалось обязательство уплатить определенную сумму денег в случае проигрыша дела. Лицо, требовавшее такого обязательства, называлось стипулятором; лицо, дававшее обязательство, — промиссором. Спонсия совершалась в виде вопроса и ответа. В данном случае ликтор был подставным лицом, вместо Верреса. Проигравший спонсию терял гражданскую честь.
126. *Ликторы* составляли почетную охрану магistrатов с империем и носили перед ними связки прутьев, в которые вне Рима втыкали секиры. При диктаторе было 24 ликтора, при консule 12, при преторе — 2 в Риме и 6 в провинции. Старшим ликтором был тот, который шел непосредственно перед магистратом (*lictor proximus, l. summus*). Ликторы приводили в исполнение наказания, в провинциях и смертную казнь. "Ближайшим ликтором" Верреса был Секстий; см. ниже, § 113, 118.

127. В подлиннике игра слов: *Cupido* (Купидон) и *cupiditas* ( страсть).
128. Сицилийский тиранн Дионисий Старший (406-367 гг.).
129. На народной сходке могли быть заявлены жалобы на магистратов, превысивших власть и совершивших преступление.
130. Возможно, имеются в виду лестригоны. См. Гомер, "Одиссея", X, 80 сл.
131. О *Фалариде* см. речь 3, § 73.
132. Цицерон намекает на агентов Верреса. См. речь 3, § 40. Харибда — водоворот в Сицилийском проливе, Сцилла — утес против Харибы, на италийском берегу. По мифологии, Харибда — чудовище, поглощавшее корабли, Сцилла — чудовище, опоясанное псами. Ср. речи 18, § 18; 24, § 67. См. Гомер, "Одиссея", XII, 85 сл.; Лукреций, "О природе вещей", V, 892; Овидий, "Метаморфозы", XIII, 730 сл.; Гораций, Оды, I, 27, 97.
133. См. Гомер, "Одиссея", IX, 216 сл.
134. Судовладельцы были объединены в компании. См. выше, § 46.
135. Выбор этих метафор можно связать со значением слова *verres* (боров). Ср. речь 3, § 53, 95; Гораций, Оды, I, 1, 28; Эподы, II, 31.
136. Т.е. с ораторской трибуны на форуме, как курульный эдил в 69 г., когда Цицерон созовет суд народа (см. прим. 39 к речи 1), если суд по делу об оскорблении величества не осудит Верреса (см. выше, § 79). Речь может идти о государственном преступлении (*perduellio*), когда осужденный объявлялся врагом государства (*hostis publicus*).
137. *Марк Перпенна* вначале был соратником Сертория (см. прим. 80), но затем составил против него заговор, и Серторий был убит. Перпенна был разбит Помпеем, попал в плен и был казнен.
138. О *проскрипции* см. прим. 28 к речи 1.
139. *Путеолы* — порт в Неаполитанском заливе. Суда, направлявшиеся в Путеолы, заходили в Сицилию, возвращаясь с Востока.
140. Город в северной Африке.
141. Вольноотпущенники принадлежали главным образом к плебсусу, низшему сословию.
142. Город в Самнии.
143. Т.е. *проагором*; он и доложил Верресу о своих действиях.
144. Ср. выше, § 106; см. Квинтилиан, "Обучение оратора", IX, 2, 40; XI, 1, 30.
145. Известны три *Порциевых законов* (198, 195 и 185 гг.). Их обычно объединяли; см. речь 8, § 12. Говоря о *Семпрониевых законах*, Цицерон имеет в виду законодательство Гая Гракха, в частности — закон о провокации. Эти законы расширяли право провокации, т.е. право римского гражданина апеллировать к центуриатским комициям на действия магистратов или на приговор суда. Валериев закон о провокации был издан в 300 г., но традиция приписывала его Публию Валерию Попликоле, одному из первых консулов Рима после изгнания царей. См. Ливий, X, 9, 3.
146. Право апеллировать к народу, отнятое у народных трибунов Суллом в 82 г., было возвращено им в 70 г., в консульство Помпея и Красса. Власть трибунов была ограничена пределами города Рима. См. также прим. 90 к речи 1.
147. "*Царства*" — государства, подвластные Риму, но управляемые царями; "*независимые городские общины*" — суверенные.
148. Возможно, дорога, проложенная Помпеем в 82 г., во время его действий против марианцев.
149. См. прим. 34 к речи 1.
150. Ср. речи 2, § 13; 3, § 24 сл. После издания Порциевых законов порке розгами стали подвергать только чужеземцев. Распятие на кресте было казнью для рабов, перебежчиков и жителей провинций — за пиратство, убийство, разбой, мятеж.
151. *Комиций* — незастроенная северная часть римского форума, где происходили выборы магистратов. О рострах см. прим. 32 к речи 2.
152. Курульный эдилитет Цицерона должен был начаться 1 января 69 г. См. выше, § 151; речь 2, § 37.
153. Намек на возможный подкуп судей. Ср. речь 2, § 36, 50.

154. Имеется в виду отвод судей, произведенный обвинителем.
155. В подлиннике игра слов: *cera* (воск) и *caepit* (грязь). См. прим. 11 к речи 2.
156. Ко времени слушания дела Верреса Гортенсий уже был избран в консулы на 69 г. Ср. речь 2, § 18 сл.
157. Намек на диктатуру Суллы.
158. Имеется в виду нобилитет. О господстве Гортенсия в судах см. речь 2, § 35.
159. Гортенсий. Обращение по личному имени звучало по-дружески; здесь ирония. Ср. речь 13, § 9.
160. Имеется в виду *Аврелиев закон о судоустройстве* (*lex Aurelia iudicaria*), проведенный претором Луцием Аврелием Коттой в 70 г. Совет судей должен был составляться из трех декурий: сенаторов, римских всадников и эрарных трибунов. О последних см. прим. 93 к речи 6.
161. Имеются в виду, кроме Сицилии, провинции Азия, Киликия, Цисальпийская Галлия, Памфилия.
162. *Милости римского народа* — избрание в магистраты. Выборы начинались на рассвете; слова Цицерона можно понимать и буквально. Ср. речь 7, § 100; Саллюстий, "Югурта", 85.
163. *Марк Порций Катон Старший* (234 — 149), как и Цицерон, был "новым человеком" (см. прим. 83 к речи 3) и первый в своем роду получил право изображений.
164. *Квинт Помпей*, консул 141 г., "новый человек", был противником Гая Лелия и Сципиона Эмилиана. См. Цицерон, "Брут", § 96.
165. *Гай Флавий Фимбрия*, консул 104 г., вместе с Гаем Марием. См. прим. 37 к речи 1. См. Цицерон, "Брут", § 129.
166. Цицерон часто упоминает о том, что *Гай Марий* был его земляком и тоже "новым человеком". См., речи 14, § 23; 16, § 38; 18, § 37 сл., 50, 116; 21, § 19, 32.
167. *Гай Целий Кальд*, народный трибун 107 г., автор закона о тайном голосовании в суде о государственной измене (*lex Caelia tabellaria*), консул 98 г., сторонник Мария.
168. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что Цицерон здесь превозносит противников нобилитета.
169. Ср. речь 18, § 102.
170. До процесса Верреса Цицерон выступал в суде только как защитник; позднее, в конце 52 г. или в начале 51 г., он обвинял в суде Тита Мунация Планка Бурсу и добился осуждения.
171. См. речь 3, § 61 сл.
172. В культе Великой Матери богов римляне объединяли культуры *Матери Идейской*, *Реи* (Крит), *Кибелы* (Фригия). *Ида* — название горы во Фригии и горы на Крите.
173. *Храм Диоскуров* (Кастора и Поллукса, *Aedes Castoris*) был одним из мест собраний римского сената.
174. Во время Римских игр и других празднеств в Большом цирке (*Circus Maximus*) происходили бега и скачки, начинавшиеся с торжественного шествия из Капитолия через форум и Велабр. При этом статуи богов везли на священных колесницах (тенсы); когда процессия вступала в Большой цирк, изображения богов ставили на особые подушки (*pulvinaria*). Ср. речь 20, § 115.
175. Ср. речь 3, § 115.

## СОДЕРЖАНИЕ

**РЕЧЬ ПРОТИВ ГАЯ ВЕРРЕСА.** Первая сессия (стр.1)

**РЕЧЬ ПРОТИВ ГАЯ ВЕРРЕСА.** Вторая сессия. О предметах искусства (стр.17)

**РЕЧЬ ПРОТИВ ГАЯ ВЕРРЕСА.** Вторая сессия. О казнях (стр.70)

